

Сергей Катков

ЛАБИРИНТ ДВОЙНИКОВ

1. ДЯДЯ ВОВА

Я — клоун. Это правда.

С самого детства у меня только и получалось, что ерничать, корчить рожицы и кривляться. Родители относились к моим чудачествам добродушно, снисходительно предполагая, что эта детская непоседливость — отражение острого ума — со временем пройдет. Так же, как подобный тип чистого, не замутненного занудством восприятия проходит у большинства людей.

Особенностью моего таланта, однако же, было замечать самые резкие и далеко не лучшие стороны характеров и положения дел, представляя их напоказ выпукло и свежо.

Как-то, лет в шесть, на домашнем новогоднем вечере я облачил-ся в подушки и перья, помпезно проковыляв курицей в центр зала, кудахча, якобы ища потерянное яйцо, и подергивая временами головой. Собравшаяся родня покатывалась со смеху, а тетя Соня, одинокая худая женщина с круглыми быстрыми глазами, длинной морщинистой шеей и широким низким тазом, почему-то не выдержала общего веселья и вышла из комнаты.

В середине вечера папа отвел меня в сторону и сказал, что мой поступок — очень-очень плохой и что я почему-то должен извиниться перед тетей Соней. Но ведь любой говорил, когда ее не было поблизости, про «эту стареющую одинокую курицу, которая даже яйца не снесет». Почему тогда я не мог прокудахтать то, что все и так говорили друг другу вслух?!

Именно тогда впервые было испытано мной горячее и слезное сопротивление несправедливости того, что называется «двойными стандартами». И как можно было извиняться за то, от чего дядя Семен смеялся даже под столом?

Моя склонность к подражанию находила отклик в голосе и умении удачно копировать интонации. Откуда что бралось, неизвестно, потому что никто из всей родни никогда не пытался произнести ни единого слова не своим голосом. Все были серьезны и шутить не умели.

Разве только дядя Вова.

Дядя Вова — самый веселый человек из родни, по той причине, что «знал, когда надо вовремя выпить».

Говорят, меня называли в честь него. Когда я родился, он был молодым и работал в армии. Он не пил, был серьезным и очень красивым, с военными усами. Теперь он не был серьезным, сбрил усы, и от него пахло вином.

Именно дядя Вова, в одном из своих своевременных и веселых состояний, однажды сформулировал запавшее мне в душу высказывание, которое и стало моим невольным амплуа: «Ты, Вовчик, — клоун, потому что рожа у тебя смешная и повадки, как у циркового медведя». Неизвестно, какие повадки были у этого медведя, но все мое детское существо в тот момент просияло, откликнувшись на зов, который вытрезвонил мою суть и назвал мое сокровенное имя.

В школе я окончательно понял, что жизнь скучна, потому что ей руководят взрослые, и решил никогда не взрослеть.

Единственное, что меня тогда привлекало и что удавалось с удовольствием и радостью — участие в театральном кружке, где я процветал и чувствовал себя некоронованным королем шуток и фирменных словечек. Никто не мог так быстро, ловко и остро вставить словцо в импровизированный диалог во время репетиций. Именно эти кружковские вечера остались самым ярким и приятнейшим воспоминанием из всего школьного времени. Я постоянно что-нибудь сочинял на ходу и острил таким образом, что наш режиссер, сидя в пустом зале на первом ряду в центре, смеялся так, что падал на колени перед сценой и упирался лбом в пол. Более выразительной и искренней зрительской благодарности мне сложно представить даже теперь, состоявшемуся клоуну, в чьем *Обязательном Трудовом Билете* в графе «профессия» стоит безликое и невыразительное — «цирковой артист».

Вслед за ним, Степаном Измайловичем, профессиональным режиссером, работавшим когда-то в настоящих, а не школьных театрах, меня и стали называть «дядя Вова».

Дядю Вову ожидали, однако, незавидные карьерные перспективы.

Роста он был небольшого, телосложение имел худое и обыкновенное, лицо — невыразительное, скучное, взгляд — сонный и усталый. Веселый характер и умение надевать на глаза невидимые сатирические очки, преобразившие дядю Вову, — единственное, что держало его на плаву, когда корабли профессиональных надежд один за другим сбрасывали его за борт.

— Так, дядя Вова, — сказал мне Степан Измайлович, когда я не без его помощи поступил в театральный, — а теперь ты давай сам. Талант у тебя есть, ум и энергия — тоже. А вот тебе воля к достижению успеха! — И он, плюнув себе на ладонь, крепко сжал мою.

2. АВГУСТЕЙШАЯ ХИТРОСТЬ

Время, в которое мне пришлось стать клоуном, по историческим канонам обычно называют эпохой подъема национального характера. В ходу монументальные герои, простодушные лозунги, тревожные императивы и внимательно-протекторатское отношение ко всему историческому и послабление к псевдоисторическому.

Ясно, что в такой обстановке уплотнения в центре, спрессовывания в гранит, все мягкое, сомневающееся, рефлексирующее на живом нерве, ректифицируется на периферию.

«У вас нет перспектив в вашем амплуа, а у нас — вакансий для него». Примерно так формулировалось мое профессиональное положение большинством работодателей.

За моей спиной уже был театральный институт с массой мелких, но выразительных ролей, потом три года в антрепризах. Постановки в основном сатирические, часто с сильным абсурдистским уклоном.

Политическая жизнь в стране менялась очень странным образом.

В ней было не до юмора. То есть не то чтобы все было так печально.

Наоборот, шутки ежедневно звучали с телеэкранов, в театрах, на концертах, по радио, в газетах, даже из уст политических руководителей.

Нельзя было шутить в основном на некоторые темы, и главным образом не поощрялся смех сатирический.

Юмор не должен был подниматься очень высоко, обычно не выше пояса, а до самых верхов юмор вообще не должен был доходить.

Дядя Вова, собравший к тому времени небольшую театральную труппу под одноименным названием, выступал на правах частного бизнеса.

Материал использовался сугубо внутренний. Мы ездили и выступали везде, где только могли найти аудиторию, готовую интересоваться нашей программой и платить за нее.

Опять же — интернет. Но там — цензура: за мониторами сидят благонадежные пузато-бородатые дяди и все слушают весьма внимательно и не смеются, даже если шутка очень удачная.

После очередных гастролей нам позвонил менеджер одной телекомпании и предложил сделать первую официальную видеозапись, при условии, что мы смягчим темы и остроты материала:

«Вы отличные актеры, я видел ваши выступления несколько раз, — сказал он весело и продолжил озабоченно: — Но ваш материал — не смешной. Он серьезный. Вы понимаете? Может, вы закажете другие номера или я сам подыщу?»

Мы договорились, что переработаем свои под современные политические предпочтения.

— Итак, — сказал Юра на очередной репетиции, — будем писать новый материал.

С нами сидел Август — театральный кот, который меланхолично примазался к нашей труппе на одной из гастролей.

— Так, давай, дядя Вова, записывать, что нам можно, а чего нельзя.

Я вздохнул и, поглаживая Августа, раскрыл плотно сброшюрованную книжку карманного формата.

Юра Бережной был одновременно продюсером, бухгалтером, водителем и руководителем отдела кадров нашей труппы. Помимо обладания внешностью нью-йоркского танцора мюзиклов и практически гениальными организаторскими способностями, ему удавалось играть трагические, а иногда и женские роли. Но об этом — значительно позже.

Он расчертил альбомный лист пополам, надписав над половинками: «Нельзя» и «Дозволено».

Добродушно посмотрел на Августа, подмигнув одним глазом, и сердито — на меня, потянув подбородок вверх — мол, давай, читай.

В книге, изданной под редакцией игумена Августа Люберецкого, издававшейся бесплатно представителю всякой творческой профес-

сии, оглашались очень важные вещи, которые в нашем государстве должен был знать каждый, решивший ступить на стезю трудового совершеннолетия и творческой самостоятельности.

Я встал, закинув голову вверх и высоко подняв книгу, будто закрывался от дождя, и зачитал нараспев по-пономарски:

— Запрещается, рабу божьему такому-то, при написании стихов, куплетов, сонетов, статей, эссеев, очерков, рассказов, повестей, новелл, романов и прочего художественного содержания и литературного по форме материала высмеивать и выставять непотребно царя нашего земного батюшку и подручных его, коим имя: легион.

Вся цитата, конечно, была выдумкой. Ни о каком легионе речи не шло. Но смысл брошюры от этого не менялся.

— Ты понял? — спросил Юра, уставившись на кота хитрыми, зеленоватыми в крапинку глазами, отчего Август с едва скрываемой, кошачьей ухмылкой только отвернулся. — Этого всего ни нам, ни тебе, друг мой, делать не дозволяется. А теперь прочти-ка, Вовчик, что нам, горемыкам театральным, — на этом изгибе интонации Юра добавил в голос сладости и улыбки, — делать позволено, и позволено всеавгустейше и даже поощряется.

И зыркнул на меня суровым сторожевым кобелем.

— Дозволяется, — звонко объявил я, — похвалить добрыми и всеблагими словами, коими выгодно и славно зовутся наши руководители испокон веков, всех начальствующих и руководящих лиц, а паче всего, не жалея таланта и живота своего — нашего единоначальствующего *Верхооо-внооо-гоо*. Да пребудет...

— Эээ, — пропел Юра, вставая со стула и подходя к столу, — отставить.

Как следовало из книжицы, весь наш методологический подход к написанию программ теперь годился только в качестве иллюстрации истории театра, так как был полностью неактуален и строился на точно противоположных посылках.

— Слушай, Юрчик, ну так не пойдет. Эти требования нас буквально кастрируют.

— Я скажу более того, Вовчик: эти требования к тому же лишают нас еще и языка и голоса. Потому как если кастраты еще могут петь, то мы уже — только мычать. Ну, так ведь?

Я развел руками.

— Тогда я продолжу, — сказал Юра, театральным взвизгом указательный палец и повернувшись на пятках, — мы не позволим себя кастрировать, мы сменим, так сказать, пол.

— Да лан, Юр, — тут я уже серьезно посмотрел на своего продюсера, бухгалтера, менеджера и все остальное, что о нем было сказано выше.

— Да-да. Это будет работа непростая, мучительная, но, с другой стороны, творческая.

Шумно вздохнув, я шлепнул рукой по дивану, отчего Август посмотрел на меня неодобрительно.

— Шутки шутками, но что делать-то будем?

— Вов, а мы будем не рассказывать сатиру или пародию, мы будем ее показывать. Молча. Как наш всеавгустейший Август. — И он нежно погладил кота меж ушей.

3. ПЕРЕЕЗД И КАТАСТРОФА

Сочинить пантомиму, причем пантомиму *остросюжетного* характера, в которой надо было закамуфлировать под сюрреалистически дураковатой поверхностью клоунады суровое сатирическое содержание — это, братцы мои, оказалось непростой задачей. Учтивая, что такого до сих пор мы еще не делали.

Пантомима как условное искусство лишало нашего героя своего определенного пола — он словно становился бесполой, безликой, не имеющей своей воли перчаточной куклой. Тогда как сам актер скрывался за декорациями пластики и грима, голос его тем паче уходил в пассив, приближенный к почти нулевому выражению.

На сцене появлялись аморфные фигуры, изредка подававшие невнятные звуковые сигналы. Это были, по сути, ожившие кляксы, под сурдинку абстрактной абсурдности выражавшие с помощью языка тела то, что тело языка уже не могло артикулировать в слове.

Когда после месяца репетиций у нас была готова первоначальная программа, я по электронке отослал ее текст телевизионному продюсеру. В нем была всего одна реплика, состоявшая из двух слов — «Чур меня!» Описание пантомимы было совершенно безобидным.

Продюсер перезвонил и недоуменно и насмешливо спросил:

— Вы сменили амплуа?

- Не только. Мы сменили и пол, и потолок, — отвечивал я.
- Вы переехали? — уточняяще настаивал недоверчивый продюсер.
- Да, в другой жанр.

Надо сказать, программа удалась.

Представьте себе условное пространство квартиры, в котором герой сначала безуспешно и мучительно пытается заснуть, а потом, измучившись, все-таки засыпает. И вот тут-то, в еще более условном пространстве сна, начинается разворачиваться главное действие. Герой из маленького чаплинского человечка превращается в кровавого диктатора, страдающего раздвоением личности. Ситуация усложняется тем, что в государстве, где правит этот тиран и злодей, существует сначала один его двойник, потом — двое, затем — еще несколько, и, наконец, все общество превращается в единую сплошную массу двойников диктатора. Целая толпа, паводок диктаторов, диктаторчиков и совсем уж микроскопических домашних диктатошек, мельче и мельче, окружает, заволакивает его. Что ж поделаться, если в царствование тиранов и злодеев именно так и бывает.

И вот уже невмочь как много их расплодилось, так что распознать, кто из них первоначальный и кто производный, невозможно. Картина массового уничтожения диктатором своих двойников завершается вполне логично, хотя и парадоксально. Решив в припадке безумия, что сам он является двойником собственной личности, злодей избавляется от призрачного допдельгангера, и мир — абсурдным и чудесным образом — освобождается от тирании.

Герой просыпается и шепчет: «Чур меня!»

Конечно, мы постарались утопить сюжет в простынях инфантилизма, нахлобучив поверх него забавной, непонятной, пушистой сказочности и подсветив действие волшебством костюмов, хитрых приспособлений, трюков и гимнастических кривляний. Так что зритель удовлетворенно съедал этот пестрый, бархатного крема пирог, в большинстве своем даже не почувствовав его ядовитой основы. Стоит, например, отметить, что эпизод расправы диктатора над своими двойниками мы изобразили в виде уморительной сцены, в которой злодей, проходя мимо своих жертв, стоящих над пропастью, раздаёт им пинки, подзатыльники, пихает их задом и таким образом сталкивает их всех с обрыва.

На одном представлении спектакль был снят в виде фильма. Наша труппа под прежней вывеской «Дядя Вова», состоявшая тогда из семи актеров, упаковала чемоданы с реквизитом и отправилась колесить, покорять города и веси, зарабатывая на новой программе.

Не прошло и месяца, когда случилось неизбежное.

В городке, где вторую неделю пробуксовывала наша гастроль, в гостинице с пыльными, пропитавшимися потом обоями, — в одном из тех тоскливых провинциальных «постоялых дворов» новейшего времени, в которых число фантомных, прежде побывавших там душ, давно преодолело число обитателей самого городка, — там, в один из зимних мгlistых дней к нам в номер пришли неожиданные посетители.

Юра уже с утра где-то околачивался. По своему похмельному обыкновению. Нас, актеров, за вычетом его, пригласили, на основании какого-то постановления, в гости к некоему полковнику Смирнову в ближайшее отделение.

— Вы — дядя Вова? — спросил Смирнов утвердительно, то есть без малейших сомнений и вопросительности. Лицо у него было строгим, по-служебному оттянуто вниз, как у дога или коня.

— Точно так. Но только и не совсем так. — Я пустился в объяснения: — Наша труппа называется «Дядя Боба». Слово «дядя» написано по-русски, а «Вова» — по-английски. Графически эту разницу трудно уловить, так как написание «Дядя Вова» и «Дядя Вова» очень похожи. Поэтому, фактически, и, юридически, поскольку мы являемся, по закону о *«Регистрации артистических, театральных, творческих и самостоятельно-самостоятельных объединений, групп и...»* — Глубокий вздох, в надежде, что полковнику продолжение фразы не понадобится, но нет, но нет, надо, надо говорить до конца, объясняя ясное и так, и самостоятельно затягивая юридическую петлю у себя на... — ...в общем, по этому закону, наше название не «Дядя Вова», а...

— Это неважно, — снизошел, смилоствивился полковник, произнося, как приговор, фразу переливчатой интонацией благородно-глубокого голоса, поставленного, скорее всего, на заре своей служебной карьеры в процессе подготовок ко всякого рода публичным докладам для начальства.

И дальше, рисуясь бархатной игрой голосовых связок, поведал собравшимся перед ним актерам, первый раз в жизни представшим

перед подобным спектаклем в качестве зрителей и обвиняемых одновременно, о заведении *цензурного дела* на наш творческий подряд. В дело пошли тексты наших ранних выступлений. Было бы приятно вспомнить некоторые шутки из них, но Смирнов не шутил. В дело пошли статьи из некоторых, *особенных*, театральных вестников, критиковавших нас еще два года назад за *формализм и нарциссизм в искусстве*. В дело пошли — самое главное — видеоматериалы, один из которых вкратце был продемонстрирован нам, бедным-бедным, поникшим актерам.

Смирнов показал запись, на которой непрофессионально, долго не могли поймать в фокус то, что очнувшийся объектив затем вывел как сценическую площадку. На ней в пышно расфуфыренных костюмах, с по-дурачки размалеванными лицами-кренделями, вальсируя в лягушачьих позах, помещалось несколько паяцев. Что-то щелкнуло, изображение одного лица, резко, квадратно подрагивая, приблизилось. Оно было единственным, не покрытым акварельно-красочным марафетом. Обведенное белой краской по линии скул так, что, представленное горизонтально, словно возвышалось бы из воды.

Это было мое лицо, лицо дяди Вовы.

Полковник остановил картинку. Окинул нас суровым конским взором и утвердительно сказал:

— Всем видно? — А после паузы поднял и перевел свой эпический указательный палец в настенный портрет. На нем застыло, как две капли воды похожее на только что увиденного паяца, изображение Верховного.

4. КОЕ-ЧТО О СОВРЕМЕННОЙ САНСАРЕ

Мое детское сатирически-насмешливое мировидение сочеталось с глубокой мифологизацией действительности. Несомненно, бытовым — кухонным, спальным, дворовым — космосом управляли соразмерные своему предмету силы. И эти силы — словно инструменты в чьих-то руках.

Мои взрослые представления, конечно, отличались большей сложностью, отвлеченностью и причинно-приземленным детерминизмом. Но, уйдя из сознательного, мифологизм оставался на дне, в «*котельной души*», производя оттуда свои движущие вызовы.

Например, узнавая из новостей о появлении нового закона или введении в эксплуатацию долгожданного завода, оттуда, снизу души, ко мне всплывали до-сознательные представления следующего рода. Что как будто некоторые добрые, упорядочивающие силы сели, придумали, записали, опубликовали закон. И вот передали его в руки другим силам, которые будут его блюсти. Ну а как иначе мог этот закон существовать? Ведь не может он быть фикцией, просто буквами на бумаге? Как и где он существует в реальности? Не только ведь в головах, его придумавших. И в головах людей, перед ушами которых его огласили. Или перед глазами, прочитавших его. *Где вот реально существует закон? Онтологически то есть?* То-то и оно, что в виде определенной сущности, которую наблюдают и оберегают другие сущности. Вроде министров, замминистров, зам-зам-замминистров, секретарей, разных сонмов разного рода и уровня госслужащих, невидимых мириад юристов, которые обитают где-то там в своих нужных, правильно установленных сферах. И они невидимы, и поэтому почти волшебны, и обладают полнотой своих маленьких властей. Но пусть так они и остаются — там, за закрытыми, стеклянными, цветными витражами. Не надо знать, кто эти люди. Пропадет волшебство. Закон теряет свое онтологическое обоснование. *Потому что не может же он существовать как чистая абстракция только в сознании.* Тогда вместо сказки про Космос и упорядоченность наступит неуправляемая реальность.

Приходя к такому, может быть, странному и примитивному пониманию, я обнаруживал его существование и у других людей. Что-де где-то там: наверху, или сбоку, или снизу, в другой келье бытия, — они-то, те, другие, знают, что и как делать. Они умеют.

И вот когда вы чувствуете себя клоуном, шутом, балагуром из балагана жизни, вы не придаете своей роли масштабного значения в этой испещренной вещами, событиями и ежедневными поступками круговерти, которую древние индийцы называли «колесом сансары». Каждый день — своеобразное возрождение в ней. И пока ты не осознал, что пора из нее выйти, ты не выйдешь. А выйти из нее очень трудно, почти невозможно. И тут есть два пути: *личное пробуждение* или *вмешательство богов*.

В мою жизнь вмешались боги.

Причем самые главные.

В сущности, почему бы и не верить в такую ментальную сказку. Индуистский пантеон вращается вокруг богов, полубогов, демонов и... У нас же все должно получить предварительное «псевдо». Псевдобоги, псевдодемоны. Псевдознающие. Вращающиеся в своих намертво-свинцово запечатанных каютах внутри общего многоободного колеса сансары, чьи рамки круглыми свинченными, часовыми пружинами туго пучатся во все стороны от единого центра. А в нем — Верховный.

Итак, в последующие несколько дней в моей жизни произошло несколько радикальных перемен. Полковник Смирнов после нашего разговора решительно изменил течение моей жизни. Он поворотил ее в новое русло резко, без раздумий. Поместил меня в жесткий кофр своей власти и повез в таком укомлектованном виде в самый центр сансары, где псевдобоги вращают гигантское колесо государственной жизни, пребывая в состоянии некоторой счастливой иллюзии избегания цикла и цепи перерождений.

Во время вынужденного путешествия разное вертелось в моей голове. Сансара... впрочем, да, условно будем называть место, страну описываемых событий именно так — Священная СанСаРа. Сансара соединяла в себе политическую и экономическую устойчивость, завидное постоянство и повторяемость событий. Государственное управление представляло собой сращение светской и церковной властей. Последняя была очень близка к концентрированному пониманию «государственности» и зачастую целиком осуществляла общегосударственную деятельность в своем индивидуальном почине.

Особое место и роль в Священной СанСаРе отводилась новому псевдоклассу чиновников-священников. Чиновнические деяния выполнялись ими в виде службы в сфере госбезопасности, а священничество — как своеобразное *духовное* взаимодействие между Церковью и людьми. Ничего новаторского, впрочем, в их деятельности не было. Но наконец-то ведущий свою давнюю историю институт церковной исповеди получил вполне ясный, явный и табельно-закрепленный статус — священник превратился в светский чин на одной из ступенек «тайной полиции».

Это было первым важным моментом нашей жизни.

Вторым было то, насколько неожиданно научное открытие может вторгаться в государственный быт.

Я тогда учился в начальной школе. В одном из новомодных инновационных центров разработали технологию преодоления силы тяготения. Гравитация была взорвана и перевернута прибором, поставившим «на попу» привычный природный уклад. Прибор назывался «антигравитон». Казалось, перестанет существовать привычная авиация, люди начнут осваивать небо, строить небесные города и заводы. Радужные перспективы! На деле, сначала попавшая в крупнейшую рекламно-патриотическую кампанию, новая технология через два-три года постепенно стала пропадать из новостей. Сводясь лишь к практическому средству «менее энергоемкой перевозки грузов». По воздуху в сторону Урала проплывало несметное множество островов — темными, страшными баржами, накрывая тенями на несколько часов целый город. Что там везли: плодородные почвы, части заводов, городов? — никому не было известно.

Поползли слухи, что над Сибирью возникают «небесные научные городки». Но потом утвердилось наиболее логичное мнение — это были наделы государственных департаментов и даже отдельных чиновников, чья золотая вертикаль стремилась к солнцу: чем крупнее бонза, тем выше его «летающий надел» относительно уровня земли.

И ко времени моей учебы в театральном небеса уже были отданы преимущественно в пользование церковной власти, медленно и верно поднимавшейся в государстве над гражданской.

Мне припомнился рассказ Юры, — где-то он был теперь, мой друг, — о произошедшем несколько лет назад, мы тогда только познакомились. Ему, к слову сказать, многообещающему выпускнику архитектурной академии, пришлось побывать как раз на одном из таких небесных островов. На летающем каркасе из легких, крепких металлических сплавов, одетых в почвенный слой, возводился кафедральный собор.

Рассказывая, Юра посматривал сквозь окно в холодное, застланное пятнистыми тучами питерское небо. Тогда мы безуспешно искали театральную работу в Петербурге. Была ранняя осень. Жили в коммуналке на Льва Толстого. Рядом — метро «Петроградская» и чахлая речка Карповка.

Комната выходила трехконным эркером на проезжую часть, где, шелестя остатками дождя, проносились машины, разбрызгивая пустьинную безжизненную воду.

Юра посмотрел в небо и, уколос селедку вилкой в бок, утопил ее в рот.

— Стройка была гигантской... Тонны арматуры, бетона, железа, стекла и пластика. Тонны... Четыреста человек... Промышленные краны... День и ночь. Ночью — прожектора... — выдавил с натугой Юра и вопросительно кивнул на ртутный изгиб бутылки. Налил обом, наклонился, выпил, занюхнул воздухом, подняв нос.

— Оттуда, с высоты, Москва — как муравейник. Я много раз ходил на краешек, смотрел из нивелира. Заглядывал в дома. Лучше места для слежки не придумаешь. Сижу высоко, вижу далеко. — Взяв бутылку за донышко, сделав пальцами подобие цветочной чашечки с лепестками, поднял ее и посмотрел сквозь стекло и жидкость в небо. — Все видно. Как под микроскопом. Никуда не денешься.

Эта Юрина мысль, что сверху видно «далеко и глубоко», потом часто припоминалась. И сейчас я снова вернулся к ней. Ведь если это все правда, насчет наблюдения и слежки, то подумать и взвесить «насчет моей жизни» могли уже давненько. И подумать, и взвесить, и сделать выводы. И принять меры. Вероятно, что эти меры со мной сейчас как раз и происходят.

5. АНГЕЛЬСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Итак, была зима. Из провинциальной глубинки, куда занесла меня театральная деятельность, теперь я попал в центр Сансары, в один из ее келейных, укромных, потаенных уголков.

Приехали на тихую государственную дачу. Сосны, стоявшие по сторонам дороги, отряхивали с себя мелкий, сухой порошок снега, птицы тревожно и настороженно перелетали туда-сюда, словно особысты со скрытыми камерами наблюдения. Глубокие сутробы поднимались над лесной дорогой, как застывшие воды расступившегося Красного моря. Так же нарочито и картинно.

Высокий конвоир, добрый молодец вежливо повел меня в двухэтажный дачный дом.

Внутри было тепло. Неяркий, альковный свет освещал уютные коридоры. Звуки мягко и коротко гасли в напольных коврах. Меня ввели в комнату на верхнем этаже. Затем молодец быстро исчез.

Царивший здесь полумрак был еще более спокойным и плотным. Прошло не больше пары минут, как вдруг из правого дивана

с мягким тихим шумом отошла часть. Из проема вышел невысокий человек, широкий, даже т-образный, подвижный, со склонностью к элегантным перемещениям в светских кулуарах, намеком на пружинистую мощь в подкововерных схватках и икроножный зуд взбираться по служебным лестницам, толкнул это подобие двери, возвратив ее на исходное место. Показал рукой, что можно присесть. Положил принесенную с собой папку на стол и сам за него уселся, энергично и с аппетитом придвинувшись на стуле.

Сбоку на его коротко стриженую голову падал приглушенный оранжевый свет лампы. Тень от головы вписывалась в круг от света и образовывала на стене овальный, желтый, месяцеподобный нимб.

Человек быстро глянул на меня, словно сверив описание с оригиналом. Затем, небрежно полистав бумаги, закрыл папку, вздохнул и встал.

— Меня зовут Михаил Светлов. Я сотрудник внутренней службы безопасности президента. Теперь я буду вашим проводником в новую жизнь.

Я кивнул, ожидая услышать подобное.

— Сейчас я введу вас в курс дела. Но перед этим вы должны узнать нечто важное.

Выйдя из-за стола, шагнул вдоль дивана, заложив руки за спину.

— Так уж сложилось, что вы попали в наш мир... — На слове «наш» он оттянул интонацию вниз, получилась тембрально-низкая, доверительная яма, в которой сидели некие «наши» и куда начинал скатываться и я. — Вы попали в наш мир случайно и не по своей воле. Теперь, войдя в... так сказать, предбанник *нашего мира*, вы должны знать, что возврата назад не будет.

Светлов сделал паузу, ожидая реакции. Я чувствовал, что надо молчать и не сопротивляться. Психологически правильным было представить этого человека, вышагивавшего не спеша, — просто одним из зрителей, перед которыми я привык выступать. Нарботанные за годы сценического воплощения и паясничанья навыки двигаться под яркий свет софитов, нащупывая настроение, ожидания публики, — все это оказалось для меня хорошей школой психологической тренировки. Так что, подавив улыбку, я только кивнул этому сотруднику службы безопасности.

Светлов, получив кивок, пошел обратно к столу, зарегистрировав, что объект повел себя нестандартно.

— Владимир Иванович, — продолжил Светлов с некоторой укоризной в голосе, толкнув стул, — в ваших интересах быть сговорчивее и сотрудничать с нами. Тем более что мы относимся к вам с уважением. *Вы — нужный нам человек.*

Наконец, я должен был произнести нечто от меня ожидаемое и приближавшее, пока нескладными, неритмичными шагами к тому, что должно было стать сначала согласием, а потом сотрудничеством с этим новым миром.

— Простите, Михаил, чего вы от меня хотите? — Голос слегка дрожал. Так было, когда я начинал речь со сцены, робко, нескоро, нащупывая дыхание публики и собственные возможности управлять ею. — Я не знаю, где я оказался; не знаю, зачем меня сюда привезли; по какой милости или провинности. Я ничего не знаю. Я — вещь.

— Ну что вы! — Голос Светлова посветлел и приблизился к той мягкой интонации, которая называется дружеской. Светлов энергично присел напротив, едва заметно подавшись навстречу. — Вы — не вещь, далеко не вещь! Сейчас я все объясню. — Сложил ладони домиком, прикасаясь к ногтям кончиком подбородка, что должно было служить, по его психологическим меркам, признаком дружелюбия, общительности и склонности к приятной, милой беседе. — Мне очень жаль, что вы оставались все то время, которое добирались сюда с нашим... ммм... сопровождением, в неведении. Но я точно знаю, что обхождение с вами было самое приятное и предупредительное.

— Да, это так.

— Это хорошо. Вас кормили, одевали, — он с умилением посмотрел на мою новую одежду (двойка костюма), — не беспокоили ни по какому поводу. Мы хотели привезти вас сюда в спокойном, уравновешенном, благостном, — это слово мне не понравилось, заронив странные подозрения, — благостном настроении. Вы здоровы, сыты, одеты, довольны. Наши сотрудники относились к вам, как добрые ангелы.

В другое время я бы крякнул, откашлялся, толкнул в бок Юру и захрипел вместе с ним от смеха. Но я сделал радостное, симпатичное лицо и с улыбкой кивнул. Неизвестно, где теперь был Юра. Может, его тоже обрабатывает подобный «добрый ангел».

— Послушайте, Владимир... — Он быстро, чуть заметным маневром двинулся назад, потом вперед, поправив складку на штанах. —

Давайте на «ты»: мы с вами примерно одного возраста. — Светлов был лет на пять моложе. — Можем разговаривать на вполне по-дружески, без жеманств и прелюдий, так сказать. — Он быстренько засмеялся, делая вид, что смех ему немного неловок, но для такого приятного собеседника можно сделать исключение и, если бы не положение службы, то непременно достал бы из потайного бара, — который, наверняка, схоронен где-нибудь посреди этих диванов, — достал бы заждавшуюся пригубленную бутылочку коньяка, настоянного на грецком орехе, и за милую душу, в добром, широком настроении, вместе со мной...

Я благосклонно согласился:

— Давайте.

— Послушай, Владимир, — начал свою долгожданную миссию сотрудник особого отдела, — ты никогда не задумывался, что твоя жизнь... какая-то неправильная, неполная, ненастоящая? — И он проникновенно заглянул в глаза, стараясь подсмотреть в них слабость, раскаяние и оглядку на свою прошлую грешную жизнь. — Никогда не думал, что все, что ты делаешь, — как бы подготовка к настоящей, другой жизни?

Поворот беседы становился нелогичным. На первый взгляд. Обычно за этим следует лаконичный вопрос, выпытывающий степень вашего морального падения или, наоборот, высоты духовного уровня: «А верите ли вы в...»

Я молчал, следуя лирическому настроению, взятому моим теперешним шефом, кивая и с сопереживанием соглашаясь со всем, что он скажет.

— Да, — сказал я, — в этом что-то есть. В твоих словах есть истина, Михаил.

Тот смутился, но продолжил.

— В нашей жизни всегда есть моменты, когда мы начинаем задумываться о целях, об истинном назначении наших поступков, которые мы совершаем ежедневно. — Вдохнул носом, трагично сглотнул слюну. — И когда ты понимаешь, что за твоими поступками, как за деревьями, встает большой лес жизненной цели...

Впрочем, с точки зрения театрального жанра, его слова, конечно, форсировали достижение этой самой цели, к которой он стремился относительно меня. Но я сделал вид, что внимаю его высокому сценическому мастерству всей душой: он все-таки рассчитывал произвести впечатление на мои актерские фибры.

— ... что этот лес — это бесконечная глубина, готовая принять каждого из нас, кто идет к ней, несмотря ни на какие препятствия. И что, в конце концов, этот лес есть не что иное как сад, сладчайший сад духовных наслаждений и праведности.

Светлов замолчал. Лицо его сияло здоровой спортивной краснощекостью, будто он прочитал не наставление заблудшей душе, а технично одолел стометровку.

«Пойдет, — подумал я, — в конце концов, меня ведь не пытаются и не запугивают, а стараются развеселить, хотя бы таким способом».

— Да, Михаил, истинно так.

Он вздохнул и встал, просветленный. Подошел к столу, взял папку. Элегизм и мощь только что прозвучавшей кантаты играли на его щеках огромными пурпурными запятыми.

— Владимир, — полуторжественно, но уже начиная приходить в себя, произнес чекист, — твоя ситуация сейчас такова: ты оказался самым подходящим кандидатом на роль двойника президента. Наши спецслужбы уже некоторое время довольно... пристально... ищут фигуру на эту позицию. Был много кандидатов, но ты оказался самым достойным. — Подсмотрел в папку. — Мы вовремя тебя заметили и вели уже несколько месяцев. Тем более что твоя театральная карьера, — опечаленный, настороженно-недовольный взгляд мимо меня в стену, — дошла до своего логического завершения. Ты меня понимаешь? — Чекист приблизился ко мне, от него пахнуло сдержанным мужским парфюмом. — Ты меня понимаешь? — повторил он, настаивая на том, чтобы я понял: что назад дороги к дальнейшему падению у меня нет. И в острых дулах его зрачков я прочитал насмешливое безумие: «Думаешь, это ты меня пасешь? Это мы тебя пасем! Так что подбери сопли и смейся, паяц!»

Последовала протяннутая ладонь. Я взял ее, сложенную лодочкой, и поднялся.

В Древнем Риме оскорбление величия цезаря каралось смертью. Подобное подразумевает и наше законодательство. Искупить преступление ценой отказа от своей личности во благо личности государственной — разве это не есть тот самый путь в «сладчайший сад духовных наслаждений и праведности»?

6. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ В СОСНЫ

Мое окно выходило в большой, холодный лес.

Стволы сосен, перемежаясь с опушенными снегом ветвями, представляли пространство, вероятно, более плотным и занятым, чем это было на самом деле. Поэтому лес, тропинка в нем, забор вокруг дачи — все это казалось каким-то специально запутанным, обманным, замаскированным. Изредка в спускающихся сумерках между деревьев мелькали фигуры людей. Впрочем, как-то раз, наблюдая за одной из фигур — наверняка, следит за моим окном, настойчиво, уверенно вертелось в голове, — я распознал в ней причудливую тень, собравшую в себе пригорок, пенек, пушисто заваленный снегом и часть какого-то огородного строения — вероятно, теплицы. Разглядев эти детали, когда солнце ушло, я посмеялся над своей мнительностью и возвратился к рутинному занятию нескольких последних дней: чтению «Махабхараты». Безусловно, в моей ситуации это был самый худший вариант литературного развлечения. Сейчас, чтобы успокоиться, выпрямить мысли, собрать остатки воли, самообладания, мне гораздо больше подошел бы нудный, но упорядоченный и обнадеживающий «Робинзон Крузо». Человек на острове в лесу, потерпевший крушение прежней жизни. Возврата к которой, как объяснили, быть не может. Однако заботливая рука Светлова подложила именно этот запутанный, с цветастыми сюжетами и иллюстрациями издевательски плотный фолиант, подарочное издание. Обычно сеансы чтения длились недолго и заканчивались отличным и глубоким сном.

Но, конечно, за мной все-таки наблюдали. Если в течение нескольких дней после беседы с сотрудником внутренней службы безопасности меня почти не беспокоили, то в этот раз, как только я, зевнув, прилег на диван с пресловутым эпосом, в комнату, вежливо постучавшись, заглянул Светлов.

Одет он был по-зимнему и по-загородному: шуба, валенки, мягкая ушанка, стыдливо скомканная в руках. Одна из завязок игриво замотана на мизинце.

— Владимир Иванович, не пора ли прогуляться? — Несмотря на свое прошлое дружеское достижение, общаться он почему-то решил снова на «вы». Он был с улицы, и превосходные, характерные огромные запятые краснели у него на щеках.

— Извольте...

Тут же из-за спины моего провожатого возник бодрый, стройный молодец, — вероятно, один из тех пушкинских сотоварищей Черномора, с лицом правильным и совершенно общим его выражением. Он поставил в комнату пару новеньких, угольных, чувствительных валенок, на них аккуратно примостил точно такую же, как у чекиста, ушанку, заботливо подоткнув кончики завязок, и, растопырив, словно изнанку медвежьей шкуры, развернул ватную, объемную, как одеяло, шубу.

— Извольте... — повторил я, второпях неуклюже бросив невзлюбленную книгу, и вдел руки в услужливо подготовленные рукава.

Уже сильно свечерело. Солнце давно укатило на запад, оставив среди сосен, казавшихся горными выветренными столпами, остатки своего тяжелого багрянца в замерзших, тусклых лунках. Мороз буквально наливался тяжелым, синим свинцом. Светлов указал рукой на тропинку, уводившую в сосны, и тут же на деревьях вспыхнули небольшие лампочки под треугольными козырьками. Для нашего удобства.

Чекист шел впереди, шумно и радостно дыша, поворачиваясь и размахивая красной своей улыбкой, обнимая гигантскими рукавицами воздух, и громко, невнятно — одними интонациями — что-то огромно рассказывая. У меня, несколько дней сидевшему взаперти, на крутом и тугом морозе с непривычки закружилась голова. Заметив это, Светлов повторил, более сдержанно и ужато:

— Мальчишек радостный народ коньками резво режет лед!

— Звучно...

— Да, очень звучно! Звучные стихи!

— Я имею в виду оригинал: «звучно режет лед»... — Было все-таки очень холодно, я еще не согрелся и не мог разделить восторгов прогулки.

Светлов не унимался, радостно стонал в паузах и с ошибками декламировал классика:

*Погасло дневное светило,
На море дальнее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, далекий океан...*

«Черт знает что такое...» — подумал я с досадой, все же заразившись лирическим восходящим настроением стихов, попавших в этот ледяной вечерний воздух и зазвеневших среди сосен поставленным зычным голосом чекиста, умевшим найти психологически верную тональность.

— Как вам книжка? — Светлов, стремительно дыша и сбивая с веток снег, продолжал обращаться на «вы». — Между прочим, одна из немногих в мире, которая сама о себе утверждает, что в ней содержится все на свете. Прямо-таки все-все!

— Я не любитель эпосов...

— Это вы зря. Сейчас самое такое время — эпическое... Мы все живем в эпосе. На самом деле. Да, мы все живем в мифе. И в эпосе... Человеческое сознание вообще очень плохо переносит реальность. Потому что в ней нет ничего человеческого. Или очень мало. Это вот как мороз.

— А эпос — это как шуба...

— Это миф — как шуба. И он вас согревает. Не дает погибнуть. Миф рукотворен, как шуба. Миф человекоподобен, так же, как одежда напоминает человека. Она скроена для него. Она его укутывает и сохраняет. Человек почти никогда не соприкасается с реальностью. Только в самом начале своего существования. Где-нибудь на заре истории. Ему зябко, неприветливо и постоянно тревожно. Потому что реальность заставляет мозг работать лихорадочно и постоянно. Мозг изобретает сознание — одежду — и это последнее, сознание, я имею в виду, формирует окончательную, уютную, наконец, ту самую человеческую оболочку, форму осуществления реальности — миф. Миф очень удобен и уютен. Потому что создан по человеческой кройке. А реальность — это радиация, пустота, бесприютный космос — она оголяет человека. Она — как камень.

Мы зашли за густые кусты. Домик исчез. Лампочки, накалившись, светло дымились прямо над тропинкой в поднимавшемся от нас паре, провисая между ближайшими соснами на оледеневшем проводе.

— Вы должны понять, Владимир Иванович, что в своей новой роли — вы совершенно мифическое и эпическое существо. Прямо сейчас я не буду углубляться во все это. Но хочу, чтобы вы кое-что поняли. — Светлов обернулся и оказался ко мне лицом к лицу. Большая, пухлая рукавица, уперлась в крупную пуговицу на моей шубе и

неумело, беспомощно пыталась ею повернуть. Лицо его посинело от мороза и темноты, запятые свернулись в красно-красчатые точки, глаза — раньше светло-голубые — тревожно и зябко сжались, потемнели. — Вы должны понять, что жизнь, казавшаяся вам оттуда, снизу, такой определенной и понятной формой реальности — совершенно другая, далеко не определенная и, может быть, даже не реальность. Здесь мы видим и формируем эту жизнь как большой эпос на основании мифологических структур, присущих сознанию большинства людей. Если вам не подходит «Махабхарата», — я надеялся, что литературно-образная подача вам покажется более близкой, — если она вам не подходит, можете воспользоваться любой научной литературой по мифологии. Ориентируйтесь на древнеиндийскую. Вникать слишком глубоко в нее не имеет смысла. Но базу следует знать хорошенько. И вжиться. Я буду вас инструктировать. — Чекист снова повернулся, пошел дальше, поворачивал головой, как делают спортсмены, разминаясь. — В первое время вам, Владимир Иванович, следует задавать как можно больше вопросов про нашу государственную мифологию. Чтобы, так сказать, воплотиться в нее самому.

Потом Светлов подпрыгнул, снова поболтал головой, передернул плечами, будто пытаясь сбросить с них невидимое покрывало, сделал несколько боксирующих выпадов и, наращивая от меня дистанцию в лес, побежал трусцой, по-разбойничьи свистнув и заговорщицки запов:

«Удар, удар, опять удар, еще удар — и ввво-о-о-от!
 борис будкеев краснодар — прррроводит — оперррко-о-от!»
 И затем из леса раздалось раззявистое:
 «И думал Будкеев, мне ребра крушааа,
 Что жить хорошооо! и жизнь харррра-ша!»

7. БОЖЕСТВЕННЫЙ БИЛЛИАРД

В домике все было тихо. Внутренняя тишина, уравновешиваясь с внешней, создавала ощущение бесконечно длительного, безвременного простора молчания. Будто все шумы, напряжения, беспокойства, все спешащие поезда, спотыкающиеся, бегущие, ковыляющие, падающие ноги, болезненно мелькающие мыслеобразы — все осталось там, в полосах, сферах, в орбитах грязных и беспорядочно сме-

шанных оттенков вопящих красок, — на бурлящей, буйствующей, охватывающей мир бесконечно широким кольцом шумящего хаоса периферии; а здесь, в центре тайфуна, в самом оке Сансары, в фундаменте бытия утверждалось безмятежное белое пятно спокойствия.

Иногда только в коридоре раздавались аккуратные шаги, серые голоса — сменялись таинственные караульные. Я пробовал их посчитать — сначала на слух по оттенкам тембров, потом визуально — изредка проходя по коридорам. Явных запретов на перемещение по дому не было, но существовало несколько правил: плохим тоном считалось болтаться по этажам без дела и нарочно высматривать, что и как устроено; выходить на улицу без сопровождения и без надобности тоже не приветствовалось; после десяти вечера до восьми утра действовал своеобразный комендантский час. Естественно, все это для меня. Остальные жильцы — не считая караульных молодцов — повар, уборщик помещений, комендант, сам Светлов и еще один-два подобных субъекта, конечно, перемещались более свободно, насколько это возможно в соответствии с их службой. И в этом смысле траектории их передвижений ограничивались шахматными закономерностями. Повар: кухня — улица — кладовая — столовая. Уборщик: утреннее возникновение в гостиной — уборка лестницы — мытье полов на втором (моем) этаже — исчезновение вниз по лестнице.

Караульные, которых я безуспешно пытался сосчитать, действовали как пешки. Сравнение с матрешками не подходило из-за абсолютной идентичности не только по внешнему виду, но и по размеру. Стоило только открыть дверь, как возникал рослый, доброжелательный, молодой-удалой великан, спрашивал вежливо: «Вам куда?» и бесшумно сопровождал. Первому из них увиденному я дал имя «Иван», просто чтобы начать отсчет. Он сопровождал мне на первом этаже, который оказался очень уютной, укромной гостиной. В центре таинственно поблескивал круглый стол, обрамленный приземистыми диванами, один боковой ход был лестницей на второй этаж, другой вел в столовую, между ними — большая, многоярусная библиотека — разноцветная, разномастная, прекрасная, как многоэтажка Гауди, обслуживаемая, подобно строительному крану-журавлю, стремянкой, способной доставить к вершинам, где покоились Гегель, классическая немецкая философия, а также Шопенгауэр, окруженный буддистской и смежной с ней индуистской литературой и всякого рода нетленными энциклопедиями. Сюда, собствен-

но, на чердак философской мысли я и повадился исполнять наказ Светлова.

Второй караульный — Анатолий, как две капли воды похожий на Ивана, но с гомеопатически мизерной родинкой на губе — сопровождал меня на прогулках, когда Светлов был занят. Третий — Терентий (числительное «три» и попавшееся мне на глаза имя древнеримского писателя Теренция, забавно расположившегося между Тургеневым и Евклидом, несколько созвучны) — этот был точной копией Анатолия, но временами казавшийся мне как будто без родинки и немного полнее, словно был тем же Иваном, но отдохнувшим в увольнении. Терентий водил меня в большую, светлую, нескромно роскошную столовую, похожую на зал бракосочетаний. Пока я в полном одиночестве обедал за длинным, министерским столом, одновременно перелистывая что-то из Блаватской и репродукций Рериха, он стоял «вольно», вальяжно и в отступлении всех правил прислонив подошву сапога к стене, и маникюрной пилкой шлифовал ногти. Пятый — с зеркально перемещенной родинкой — назывался мной Аркадием и ничем не отличался от всех остальных, даже точно так же падал в снег и негромко матерился, когда отставал на лыжной пробежке.

Со Светловым я теперь виделся каждый день. Он либо инструктировал, либо экзаменовал меня, либо совместно разбирал особенно трудные понятия индуистского мироустройства. Общение с ним становилось все ближе и доверительнее. «Ты» и «вы» перемешивались в его речи постоянно, впрочем, предпочтение отдавалось более дистанционному обращению. Прогуливаясь, беседуя, мы как-то раз достигли высокого бетонного забора, — границы придачного участка, — маскировавшегося под лес: на нем росли, удаляясь, облупившиеся рисованные сосны. Чекист поздно заметил его и, сконфуженный, аккуратно повел меня обратно. Я не подал виду, хотя обратил внимание на нелепую улыбку Светлова.

В домике обнаруживалась бильярдная. Сюда Светлов приходил, чтобы разрядится после трудового дня. Он исчезал с утра за пределы дачи и возвращался вечером, растревоженный и раззуженный, словно в нем, как в пустой камере футбольного мяча, болтался твердый и тяжелый камень мыслей. Перебрасывая и пиная этот мысленный ком, он жестко и резко отыгрывался на бильярдных шарах, молниеносно щелкая кием.

— Как вы для себя решили проблему совмещения атмана и брахмана? — Раздраженный, он держался официального обращения. Щелчок — и шар, закрученный, заметался между бортами.

— Пока никак... Для меня слишком много всякого такого слепленного вместе... совмещенного... — Я долго прицеливался и одновременно обдумывал мысль, в результате кий по касательной резанул шар, направив его юлой мимо лузы.

— Это называется синкретизм... — со злобой быстро парировал соперник по игре и безжалостно утопил свою жертву, легкомысленно слишком близко подведенную мной к лузе.

— Вот-вот... в мозгах потом слишком много синкретизма от этого всего...

Светлов настырно хмыкнул, прищуриваясь на очередную жертву.

— Давайте я вам все объясню по порядку.

— Давайте...

— Смотрите, что у нас имеется. — Он поставил три разноцветных шара в центр стола. — Вот Брахма, Вишну и Шива. Тримурти. — Поместил красный, синий и белый шары в треугольную рамку и повозил ею по столу, тихо шурша. — Онтологически неделимая троица. Они всегда вместе. Куда один — туда и остальные. — В доказательство он сделал круговое движение рамкой, и шары послушно заскользили внутри, постукивая и дружно следуя границам треугольника. — Брахма — это основа всего. Мировая материя, невидимый, но реальный мировой океан — все создается им. Своеобразная виртуальная всесоюзная житница. Так? Из нее, как по волшебству, возникают все вещи на свете. Именно эта виртуальность, всевозможность — сон Брахмы, — это как бы вселенская ткань, бульон, в котором все и пребывает. Вишну, — под руку Светлову попался синий шар, — это фигура уже более конкретная, твердая, ощущаемая, материальная, плотская. — Он жадно сжал шар, как яблоко. — Вишну старается сохранять вселенную в состоянии гармонии, проникая своей энергией все вещи насквозь. И, проникая, пронизывая, как бы скрепляет их единство. — Светлов расслабил ладонь и покатил шар. — Отсюда стремление к осязаемым, наглядным воплощениям. Вишну, помимо своего собственного бытия, имеет реализации в виде аватаров. Отметьте этот момент. Он важен. Аватары — тоже божества, заместители и представители Вишну...

— Например, Рама.

— Точно... — Светлов задумался, потрогал кончик кия и стал натирать его мелом, укоризненно поцокав языком. — Помните, что я говорил вам о мифологии, эпосе?.. — Вопрос был риторическим, ответ — необязательным. Голос и глаза моего нового шефа успокоились и приобрели какой-то лирически-исповедальный оттенок. Будто он вспоминал давно забытое, нетрогаемое и теперь доставал его аккуратно, детально, деликатно, словно спящего за пазухой котенка. — На самом деле не так просто решить вопрос, существуете вы или нет. Дискуссия о существовании, о реальности идет, многоуважаемый Владимир Иванович, издавека. Поскольку в мире много преходящего, текучего, древние индусы решали этот вопрос таким образом... как будто все окружающее нас — некоторый сон, обман. Реальность сна для спящего — истинна. Тогда откуда знаете вы, что не спите?

— Майя...

— Согласен, майя. И сансара... Эти вопросы не такие уж абстрактные и заумные. Хотя бы раз в жизни любой человек задается вопросом: а не снится ли ему все это? Вот, например, вы? — Светлов, поглаживая вращательными движениями мела кончик кия, посмотрел на меня любопытствующим взглядом. — Вы задавались?

— Все это не так уж ново... жизнь есть сон. Пьеса есть такая у Кальдерона.

— Вот видите... в принципе, это даже довольно расхожая идея. — Голос Светлова приобрел вкрадчивые, слащавые интонации. — Общие идеи, так сказать, уже уложены в головах людей. Существующий порядок — политический, экономический... идеологический — он во многом зависит от поведенческих привычек и совокупности общих идей, присущих людям...

— К чему вы клоните?

— К тому, что ничего принципиально нового политтехнологам придумывать не надо. Все и так уже есть в головах электората. Представьте только, что майя — это форма государственного управления, сансара — собственно реальное государство, воплощение такой формы, божества различного уровня, мастей и толка — руководители там и сям, наверху и на местах. Брахма, великий сновидец, формирующий нашу реальность, есть не что иное как высшее руководство, Верховный, сновидящий наше бытие — политическое, экономическое и так далее. Если ему снится одно — оно и существует в таком

виде, снится другое — существует или видится совершенно иначе, в другом цвете, поведении и взаимодействии власти с народом, даже политической геометрии. Хоть кверху ногами.

— То есть, используя такие общие идеи, вы, политтехнологи, управляете массами?

— Дело не в том, что мы ими управляем. Мы поддерживаем определенную картину мира, воплощая ее в определенной государственной реальности. — Светлов полюбовался проделанной работой, оставил кий и перешел к конкретике. — Итак, наш Верховный — это Брахма, Вишну и Шива в одном лице. Тримурти. Его видение, как необходимо строить политику, от самых оснований и до предела бесконечности — то есть куда в будущем вести народ и государство, — это и есть «государственная майя», если так можно выразиться. Свое видение наш собственный Брахма транслирует через различные каналы на всех существ нашего государства, нашей собственной Сансары. Все мы находимся в его сне, в его видении.

— Очень все это забавно... — Я попытался дать почувствовать Светлову, что нахожусь как бы над ситуацией, над этой индуистско-политической выдумкой.

— Не надо забывать, дорогой Владимир Иванович, что теперь вы имманентная и почти бессознательная часть нашей мифологической системы и совсем уж не следует быть настолько инфантильным, чтобы считать себя свободным от ее влияния или думать, что можете легко нырнуть в какую-либо другую реальность. Сейчас вы поймете, как глубоко вы уже во все это вляпались, — тут же парировал чекист. — Я о вашей непосредственной роли.

— И какова же эта — моя — *непосредственная* — роль?

В то время как я изображал независимый вид, Светлов прохаживался около стены со стеллажами бильярдных принадлежностей, задумчиво покусывая нижнюю губу. Взял несколько шаров поменьше, неспешно, вращательными движениями ввел их в поле стола, словно запуская в прудик разноцветных рыбок.

— Помните, я упомянул аватаров Вишну?

Я упрямо решил не отвечать и скрестил руки.

Светлов сдержанно ухмыльнулся.

— Аватары приходили в мир, чтобы поддержать в нем равновесие сил, способствовать справедливости и нравственному порядку. — Проговаривая, Светлов опускал очередной шар и хитро на меня ко-

сился. — Аватаров было бесчисленное количество. В идеале можно считать аватаром любое существо, добровольно соблюдающее закон — дхарму, установленную верховными богами. Любой чиновник — пусть даже самого низшего уровня — но ревностно придерживающийся закона — какой-никакой, а уже и аватар.

— То есть вы, конкретный имярек, потайной сотрудник мифологической структуры госреальности, вот вы прямо так и есть в данный момент аватар, прямо-таки стоящий передо мной?

— И вы, и вы, милый мой Владимир Иванович, урожденный в клоунской касте, путем перерождения и благодаря некоторым трудам нашим, способствующим, через вспомоществование наше — вы тоже скоро готовы родиться новым аватаром! — Светлов жгучим, клеймящим своей уверенностью взглядом вцепился в меня, тяжело накренив голову. Мне пришлось скромно уйти от этих безумных зрачков. Он воспринял это как согласие.

— И какова же моя аватара?

— О, ваша аватара — высокого уровня. Вы воплощаете внешность самого Верховного. Вы — облик, цветная тень его, движущаяся как бы самостоятельно... Двойник, двойник — вы понимаете, что ваша роль — не отличаться от оригинала?

Я хотел высказаться, что мое прежнее актерство — это и так двойничество во плоти. Раз уж мне не уйти от этого. Но Светлов жестко прервал:

— Вам нужно просто понимать это. Чувствовать. Переживать свое двойничество. Свое существование как избранничество в виде очень важного и достойного перерождения. Пока просто ощущать и переживать. Мысли и действия придут потом. После. Доверьтесь нам. Вы поняли?

— Я понял...

— Очень! очень важно, чтобы вы это поняли!

Чтобы смягчить накал речи моего шефа, я миролюбиво спросил:

— А что с Шивой?

— Ах, Шива... наконец, Шива... — Светлов, успокаиваясь, нарочито медленно поднял треугольник, освободив из него шары. Красный и синий поставил рядом и поодаль — белый биток. — Шива — это несколько противоречивый бог. С одной стороны, он приносит счастье, благоденствие, с другой, он — форменный разрушитель. При чем разрушает он по своему обычаю не что попало, а всю вселен-

ную сразу... Но если брать по большому счету, — Светлов тоже хотел примирения, — то да, вы правы... сам черт сломит голову, разбирая, кто за что ответственен в этой мифологии, где большинство богов сменяют друг друга при выполнении своих функций. Даже Брахма в индуизме не самый главный, потому что еще есть Нараяна и Праджапати, которые оба являются, как и Брахма, — тот же Брама, — и творцами миров, и высшими воплощениями бесконечного духа...

Светлов резко выдохнул, присел, прищурился, и, замерев, жестко скользнул кием. Белый Шива ударил лбом Вишну и Брахму, загнав каждого в свою лузу.

— Дуэт, господа! — подытожил эффектным ударом свою лекцию Светлов.

8. ...

Если немногим раньше мне казалось, что я уже готов выйти из сансары, — еще совсем недавно, только оказавшись на даче, — то теперь она, насмехаясь, поигрывая, улавливала меня очередным силлогизмом, хватала за хвост и перебрасывала на другой уровень, лукаво наблюдая, как поведет себя жертва. В отчаянии я понимал, выйти из сансары невозможно. И боги также завязли в ней, опьяненные своей властью, пусть и молниеносно перемещаясь внутри иллюзорно-прекрасных своих миров, переворачиваясь, кувыркаясь, подобно играющим котяткам, пусть и смеясь и упиваясь сладким, радужным избытком силы и довольства, счастья быть выше обыденных бед человечества. Но все равно они — лже-боги и по плоти ничем не отличаются от обычного человеческого существа.

«Итак, вмешательство богов никак не избавляет от круговорота, взлетов и падений в этой дурной бесконечности. Правда, есть путь просветления. Который заключается в тихом выходе, в неучастии, в непротивлении, в примирении, в угасании... А что если побег?» Я обернулся. Сзади, поскрипывая снегом, на некотором расстоянии с непричастным видом, синхронно моему ходу, — быстрее, медленнее, — шествовал очередной конвоир. «Анатолий или Аркадий? Кто в этот раз? Анатолия... Аркадия... забавно, что я выбрал древнегреческие названия... Или Василий? Или на этот раз вообще какой-нибудь Леонид?» На мой задержавшийся взгляд тот вопросительно

посмотрел, достал из кармана сигареты. Я отрицательно покачал головой и продолжил медитативную прогулку. «Кто их разберет, один это человек или разные? На вид есть что-то неуловимое в их лицах... или лице... что меняется каждый день, что дает повод считать их разными людьми. А вот по движениям, голосу — словно зеркальные отражения друг друга... Может, это никакой не Анатолий, Аркадий, Леонид или Терентий, а просто Ваня? Обычный деревенский парень, из захудалого рода кшатриев. Попавший отбывать свою карму на скучную государственную дачу, а не на поля эпических сражений, в эпицентры скопления божеств, в судьбоносные летающие штабывиманы, где за круглым столом хлопочут мировые часовщики, затягивая мировые пружины, которые дрожат-дрожат-дрожат, пока не лопнут от напряжения...»

Мы дошли до забора. Конвоир жестом показал назад к даче. Я склонил голову набок, пожал плечами, дружелюбно улыбнулся, развел руками: мол, прекрасный день, солнце в зените, очень хочется побыть именно здесь. Разговоры конвойным предусматривалось вести только в крайнем случае. Но обычно подразумевалось, что все общение можно утрировать до простейших смыслов, выражаемых жестами. Не мировоззренческие же диспуты нам вести. Я присел на поваленное, заснеженное бревно. Он — тоже — поодаль — спустя некоторое время. И закурил.

«Никакой это не Анатолий! Терентий!» — решил я твердо. Только он позволял себе такое поведение. Курение, соглашательство с поднадзорным, беспринципная расслабленность в виду близкого забора, халатное обращение взгляда на птиц, стрекочущих в далеких щетках сосен. Впрочем, он мог быть очень уверен. Куда мне бежать?

Внезапно возле забора показалась собака. Терентий мирно созерцал сорок. Песик — худая, остромордая дворняга — озабоченно подпрыгивая по следам, оставленным в глубоком снегу, петляя, приближался к нам. Подбежав ко мне, он слюняво улыбнулся, нетерпеливо завилял хвостом и заинтересованно присел рядом. Я погладил собаку толстой варежкой. Терентий безмятежно рассматривал верхушки деревьев, пуская дым строго вертикально. Пес улыбнулся еще радостнее и забрался передними лапами мне на пальто. С шеи у него свисал шнурок, на котором в слабом узле петли болталась скрученная бумажка. Осторожно высвободив руку из варежки, пока на ней лежала лапа пса, я еще раз погладил собаку, проведя от холодных

кончиков ушей к припорошенной шерсти на груди. Записка легко упала в ладонь. Собака тут же потеряла ко мне всякий интерес, перестала лыбиться, сползла на снег и со скучающим видом потрусила дальше по дорожке. Охранник страстно шурился в небо, докуривая сигарету, не спеша задерживая дым в продолговато вытянутых губах, словно раздумывал о чем-то принципиально важном: например, дольют ли ему бульона на один половник больше — ввиду прибавления мороза на целых пять градусов.

Бумажка была в рукаве. Я встал, лучезарно улыбнулся Терентию в лицо, задорно моргнул и кивнул в сторону дачи. Он все так же заумно тарасился в небо, потом опомнился, выбросил окурочок и, не изменяя задумчивому настроению, неожиданно произнес:

— Пойдем, что ли?

9. ...

Эстафету светловского инструктажа через несколько дней перенял его соратник по их общему тайному делу. С ним приходилось несколько раз сталкиваться в коридоре — при встрече, беззвучно поздоровавшись одними губами, он стыдливо как бы подворачивал голову набок, будто рассматривал, какого цвета у него галстук или пятно на воротнике. Хилая, плосковатая фигура постоянно норовила упасть вперед, подергиваясь при ходьбе внутри широкого, с нескромно заметными подплечниками пиджака. Но внезапно возникавшие ноги бодро подхватывали обреченное упасть тело и выносили его стремительной волной, словно лодочный нос, с разбегу выскакивавший на берег. Такое нестандартное отношение с земным притяжением могло сформироваться только многолетним усердным, прилежным лежанием за канцелярской работой. Именно полужележание он и продемонстрировал во время случившейся беседы.

Спускаясь утром в библиотеку за очередным книжным кирпичом, я услышал от сопровождавшего караульного — наверняка, это был Анатолий — что перед крутой лестницей мне лучше завязать болтавшийся шнурок и что днем со мной встретится Евсейий Семенович.

— Кто это?

— Товарищ майор службы безопасности, — скромно ответил сопровождавший, потупив взор.

Кабинет был тот же самый, где происходила вербовка. Евсевий Семенович занимал за столом прежнее светловское место, изрядно облокотившись на него всем туловищем и почти обнимая всю рабочую поверхность, так что одна сухожилистая кисть безвольно свешивалась за край. Грудь прессовала стопку бумаг, торчавшую снизу белой в черные козявки букв манишкой. Длинное лицо обращено ко мне боком. Он что-то такое тихо проговорил, дернул кистью — и я, памятуя о чекистском гостеприимстве, присел на один из знакомых диванов. В то же время ожидая, что из противоположного в любой момент может воплотиться сам Светлов. В качестве одного из аватаров Вишну, например.

Вы бы ни за что не догадались, в какой момент Евсевий начинал говорить. Голос у него был тихий, как бормотание дождя. Так что вначале я даже принял его слова за урчание в желудке. Возможно, он разговаривал сам с собой? Евсевий близоруко что-то вычитывал из бумажки под самым носом, одноглазо уткнувшись в нее, как голубь в асфальт, выскивая в его зернистости что-нибудь съедобное.

— ... как Михаил Васильевич уже сообщил... действия необходимо синхронизировать и ускорить... профильные специалисты проведут обучение, тренинги... помните о высочайшем уровне конфиденциальности... теперь о главном...

Суть его лепета, в который пришлось благоговейно вслушиваться, раскрывала, собственно, самое важное во всей этой истории — Евсевий, наконец, стал расписывать задачи моей непосредственной роли. Они сводилась к тому, чтобы замещать Верховного во время поездок — сидеть в государственном автомобиле и выглядеть его профилем в полупрозрачное стекло. Пока все.

Аватаров должно быть много, делал я из этого многозначительный вывод, очень много. Они должны детализировать видимое существование Верховного и создавать ощущение его божественного присутствия повсюду. Вероятно, есть аватары, стоящие на трибуне с поднятой рукой; аватары, играющие в футбол или хоккей, плавающие в бассейне; возможно, есть такие, которые выступают перед журналистами и вообще на публике (вероятно, это самые профессионально заточенные на общественность аватары); потом есть аватары-мыслители — в самом ядре всего этого облака воплощений, — передвигающиеся медленно и задумчиво, носящие в своих головах заряды ментального поля Верховного; они общаются только с ним

и самыми приближенными; и еще, гипотетически, есть один центральный аватар — или уже собственно сам Верховный? — неподвижно лежащий в полутьме роскошной кровати под балдахином в центральной зале Священной СанСаРы с полуприкрытыми веками, сновидящий все свои проявления, управляющий ими и в принципе существующий для того, чтобы вся наша реальность проявлялась именно таким, а не иным политическим образом.

В конце своего отнюдь не пламенного, но важного спича, Евсей откинулся на спинку стула и посмотрел на меня круглым голубиным глазом. Скромно потупил взгляд, наблюдая свой галстук.

— Подготовка ведется в рамках необходимости продублировать ситуации с перевозкой первого лица государства... при назначении в многолюдные места... обеспечение многократного присутствия и невозможности определения объекта охраны со стороны предполагаемых провокаций... создание сложности обнаружения... — Слова стрекотали тихо, но очень разборчиво, как детальное потрескивание наручных часов при их заводе.

10. ИНФОРМАЦИЯ КАК ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

Записка, переданная таким, как было описано выше, ловким и юмористическим образом, представляла собой выданный в спешке листок в клетку. Узкий скотч крест-накрест изнутри прихватывал миниатюрную полупрозрачную пилюльку. Под ней на бумажке синели рукописные каракули. Осторожно отделив скотч, я прочитал:

«Среда шесть вечера выходи на прогулку в то же место к забору. За полчаса до прогулки вставь таблетку как можно глубже в ухо. Возле забора встретишь Полкана».

В этот раз охранник нервничал. Иногда пристально, словно что-то подозревая, посматривал исподлобья, избегая глаз. Выходить ему на мороз не хотелось. Отрывистыми и короткими движениями запахнув шубу, угрюмо кивнул, что-то промышчал, достав из кармана сигареты.

Солнце почти зашло, просвечивая впереди сквозь щели забора. В голову пришла легкая и естественная мысль, что такая сторона света, как запад, — именно там, прямо по курсу, за забором, чернев-

шим закатной тенью и скрывавшим выход из всего этого чекистского подворья и леса к свободе. Это сориентировало меня, если бы имело смысл.

Дойдя до бревна с просиженным в снегу на манер седла серединой, я остановился, неспешно полез в карман, ожидая, что будет дальше. Охранник покашливал за спиной в нескольких шагах, топчась и прицельно бросая по сторонам взгляды. Сосны раскачивались в верхушках, словно вытягиваясь выше и выше, чтобы поймать, как глоток воздуха, толику уходящего солнца. Тени грузнели, но всплывали на снегу пятнами, распространяясь шире и шире.

Одно из пятен отделилось от забора и поплыло ко мне. Приглядевшись, я увидел: это был худой песик, вилявший среди сугробов.

«Точно, Полкан...» — подумалось в голове неспешно, спокойно, как бы со стороны.

— Собака на месте... прием... прием... как слышно? — произнес Полкан у меня в голове шипучими окончаниями слов, подбегая к бревну. — Спокойно... — предупредительно продолжил он, сглатывая слюну и снова разевая мокрую пасть, выпуская густой пар. — Спокойно садись на бревно. Не смотри на охранника. Не делай резких движений... Закури. Слушай.

Руки, доставая сигарету и зажигая огонь, задрожали. Мысль о неожиданном сумасшествии была сама по себе безумной. Охранник, чье присутствие я чувствовал спиной так же, как, видимо, Орфей свою Эвридику, сосредотачивал в себе островок знакомого, нормального, здравомыслящего мира. Шея задрожала — я не решался ни обернуться, ни посмотреть на собаку.

— Слушаем внимательно и запоминаем. — Пес улегся у ног, то отворачиваясь, то посматривая на вспыхивавший уголек сигареты. — Во-первых, ты знаешь, для какой задачи они тебя готовят. Это роль подставной куклы, которую будут возить в «Мерседесе». Наверно, не очень интересно занимать место статиста после таких-то ярких и динамичных ролей?

Я неуверенно кивнул.

— Вижу, понимаю: роль тухлая, негодная... Это первое... Второе... У нас есть три дня. Потом будет поздно. Есть информация, что весной на Верховного готовится покушение — в один из тех моментов, когда его в кои-то веки повезут мимо толпы. Роль жертвы — это твоя. Потом скажут, что Верховного там не было. Но тебе от этого легче не

будет. Поэтому, в-третьих... мы готовим побег. Среди охраны один из наших. Он подаст знак, скажет: «Не все действительно разумно». Доверься ему... Собственно, это все... Привет из Лапуты... Да, погладь Полкана за меня. Он тоже один из наших, через него идет трансляция... таблетка скоро испарится сама... заканчиваю связь... конец действия информационной галлюцинации...

11. ЧЕКИСТСКИЙ БАПТИСТЕРИЙ

Ночью я проснулся от звука в окно. Снежная крошка коготком стучала в стекло, ветер косо хлестал ее в низ рамы, где уже образовался треугольный занос, внутренняя сторона которого покато прогибалась, словно кошка, улегшаяся в углу дивана.

В окно виднелось место, где мы прогуливались со Светловым в соснах, под лампочками.

Свет одиноко, рыже маячил в конусном мираже, созданном бесчисленным потоком снежинок.

В дверь тихо, но настойчиво, нетерпеливо, стучались. Теперь я понял, что в действительности проснулся от стука. Такой же, как предыдущий, прозвучал ранее, пока я спал. И второй показался напоминанием о чем-то, звуковым дежавю, «бетховенским стуком».

Я открыл. Высокий, с фарфоровым, тучным, овальным лицом, стоял Анатолий. Или Иван. Кто их разберет. Негромким, безликим строевым голосом произнес:

— Вас ждет Михаил Васильевич. Хочет побеседовать. Это надолго. — И передал мне стопку свежего, мягкого, пахнущего полиграфией белья.

Мы спустились на первый этаж, прошли через большую столовую, сейчас темную и загадочную, как предновогодний зал, повернули в узкий коридор, миновали порожек, ступенчато горбившийся, — переход из дома к пристройке, — резко спустились в тесно вырубленный проход, где хозяйничал плотный, горячий воздух с привкусом распаренного банного веника. Здесь и впрямь, за предбанником была сауна, обшитая деревянной решеткой, с овальным, словно мольница, бассейном.

Пока я переодевался в выданный охранником комплект банного белья, Светлов, выглянувший из-за двери с улыбкой чеширского

кота, приветствовал меня и, заняв свое обширное место на решетке, жаркий, плавающий, в набедренной повязке, полувозлежащим симпозиархом с античной вазы, начал разглагольствовать. Голос его глухо раздавался за стеной.

— А вы знаете, что ранние христианские храмы — как архитектурные сооружения, я имею в виду, — стали прямыми наследниками римских терм? Это очень интересно. С точки зрения как бы логики преемственности культур. Это похоже... мгом... на культ карго. Представляете, да? Несчастные, необразованные, полудикие папуасы, которые еще вчера молились в катакомбах, получили в наследство роскошные, похожие на чертоги богов хоромы, которые — они и помыслить не могли, что это всего лишь купальни! — которые они приняли за культовые сооружения. Им и в голову не могло прийти, что все, что касается культа, может иметь самые разнообразные формы и направления. Античный культ тела и природы казался им отвратительным. При том, что сии банные постройки они потом и сами приспособили для очистительных целей. Я думаю, римляне не имели того характерного для христиан ощущения благоговения, радости встречи с Богом. Ощущения снизошедшей милости. Того щемящего, горячего чувства благодарности перед божественным всепрощением. Римляне относились к божествам потребительски, рационально, вполне как материалисты к капризным силам природы. Христиане, конечно, сублимировали сам принцип веры. То, что было баней, отмывальней, стало молитвенным храмом, тело заместилось духом. Но суть вещей не изменилась. Банный день и субботне-воскресные службы еще никто не отменял. Так что заходите, не медлите. Подчистим и тело, и дух!

Переодевшись в белое, мягкое белье, теплые сланцы, я уже прикоснулся к дверной ручке парилки, когда заметил сбоку зеркало. В нем стоял совершенно древний римлянин — в тоге, сандалиях, не хватало только лаврового венка, каковой полагался бы августейшей персоне.

— Заходите-заходите, — гудел голос Светлова, — хватит стоять в предбаннике. Пора уже и попариться!

— Это вы имеете в виду свои слова о «предбаннике нашего мира»?

— Какие слова?.. А-а-а, — несколько уязвленный, вспомнил Мишайл, — да-да, и это тоже. Это тоже. У вас хорошая память.

— Я актер. Профессиональная привычка.

Чекисту не понравилась моя самодеятельность. Возможно, он уже давно смотрел на меня как на своего очередного «буратино», выструганного непревзойденным профессионализмом вербовки и заговаривания зубов.

— Кстати, что вы имели в виду под «культом карго»?

Светлов поднял со скамьи громадную, бочонкоподобную, с большой пенек кружку, отхлебнул из нее, оставив на верхней губе пористую пену. Движения его были одновременно и порывисты, и сдержанны. Румянец на кончике носа и щек, игривый и блуждающий взгляд объясняли задумчивость и говорливость.

— Квас-с-с. — И он придвинул мне заготовленную, такую же великанью кружку, с резными дубовыми листиками. Пена в ней уже отстоялась.

Светлов отхлебнул еще — и моя уверенность, что разговор будет носить беспорядочный, полуосмысленный характер, пошатнулась. Теперь он был, что называется, «ни в одном глазу».

— Так вот, мы говорили про раннехристианские храмы... Пейте-пейте, в бане принято пить квас... Римляне любили бани. Любили общественно-но-е, интерактивность, вот это вот... эту массовость. Хлеба́ и зрелища, потоками бурлящие в современных СМИ, — это не месопотамское, нет, не ближневосточное культурное завоевание... как бы ни хотели иудеи — их священная клановая история не стала прообразом мировой. А государственная, светская история римлян — стала, да. Кто сейчас помнит об их мифах, верованиях, богах? А вот солдат, юристов и меценатов помнят... — Тут Светлов снова отхлебнул, и его взгляд, словно перевернувшись, опять замутился. — Евреи, конечно, понимали: чтобы выйти на мировую арену, надо ехать в Рим. Точно так же, как джазовый саксофонист или виолончелист понимает, что доказывать превосходную степень мастерства имеет смысл только в Нью-Йорке. Вершина мира, так сказать... Вы пейте-пейте, квас хороший, с мятой... Знаете, я... — Светлов отхлебнул, взгляд его перекувыркнулся в очередной раз, словно монета, и на этот раз выпала трезвая на вид «решка», — я занимался историей, между прочим, профессионально. Древнеримские термы как образ социального устройства... Название моей диссертации... Ни один общественный институт, ни один другой не отражает в себе, как в миниатюре, все общество так, как это сделали термы. Это ведь не просто парилка! Там были библиотеки, спорт-

залы, театры, рестораны, лектории, музеи. Вполне возможно, что и торговые ряды и так далее.

Я сидел с очень объемной, приятно-пористой на ощупь деревянной кружкой, поставленной между колен. В сауне тихо, зернисто шевелился разогретый воздух, блуждавший между стен и накапывавший то горячим, то холодным краем. Раз уж избежать этого разговора, казавшегося поначалу странной прихотью моего шефа, невозможно, лучше принять условия игры и следовать им далее. То есть выпить квасу и, удобно расположившись на лежаке, вести изысканные беседы. Поэтому, сделав изрядный кислый хлебок из псевдобочонка, я продолжил внимать ни к чему на первый взгляд не обязывающим глаголениям.

— И вот приходит новая историческая формация. Роскошные, гипертрофированные храмы телесных ублажений переводятся на баланс нового общественного распорядителя. Баптистерий — одно из первых показательных явлений в христианстве как государственной религии. Надо ведь как можно быстрее конвертировать всю социальную массу в новую веру. И они поступают по старинке. Они же помнят, — еще по свежим следам, — чтобы заручиться поддержкой плебса, императоры дарили ему — нет, не только ведь кровавые зрелища и обильные хлеба! — нет, еще были термы: эдакий популистский жест дара! В корне жизнь они не изменяют, а вот отношение к правящему лицу, в целом то есть — это, пожалуйте. И через баптистерий, как через межвременной портал, повели они народные массы в новую жизнь. Они действовали по аналогии... считали, чтобы стать новой цивилизацией, достаточно использовать оставленные от предыдущей механизмы и орудия. Только не могли они представить, так же, как папуасы, что это — всего лишь инфраструктура, а не цель; всего лишь средство, а не центр. Это о вопросе про культ карго. Чтобы вызвать дождь, они, условно говоря, щеголяли в изысканных, подбитых мехом плащах, вертели зонтиками над головами. То есть следствия ими принималось за причину. И вот чтобы самим стать цивилизованными и перевести других туда же, в свою цивилизацию, они окунают народ в воды терм, будучи уверенными, что плебс, помня об императорских щедротах, атрибутом которых... которых... что плебс... что, в общем... что, плескаясь в тех же водах, что и прежде, плебс мало-помалу, перейдет в новую веру, может, даже не заметив, что хозяин-то терм —

новый... новый... Понимаешь, в чем дело? — Светлов сменил ногу общения на дружескую.

— И что? — Квас был хорош, чувствовал я.

— А то, что папуасы до сих пор лепят деревянные истребители, а нашим прозелитам удалось-таки добиться своего. И под зонтиками, то есть окунаясь в ванны, создать новый вид цивилизации — религиозный.

— Молодцы!

— Не то слово! Молодцы! Понимаешь, и нам с тобой надо сотворить нечто подобное! И нам надо, используя только внешнюю атрибутику, без глубокого дна — используя лицо, поведение, ну, все такое... — Светлов сделал брезгливую гримасу, будто держал в руках ком сырой, разваливающейся глины. — Понимаешь? Все такое же наподобие. Чтобы использовать только образ, а повлиять на мысли и дела. — И снова отхлебнул.

— Вот как ты думаешь, почему у нас не было своих баптистеров? — продолжал он вдохновенно. — Вот как ты думаешь? Ну, вот скажи, не робей, не...

— А зачем нам? У нас тут все по-своему.

— Воооот! И я так думаю, что баптистерий для нас везде! Это у них там — отделить одно от другого, отгородить, окантовать, проанализировать, а это вот у нас, — широкий, разгульный жест руки, — у нас сразу и мир, и природа, и храм, и мастерская, и баптистерий. У нас ничего не... не теряется и все безраздельно. Поэтому поутру князь Владимир бросает пудовой рукавицей, вышибает дверь — говорит, то... то есть кричит, сгоняет людей на Днепро — и под небесным куполом в баптистерии — уж если так говорить — в природном, естественном баптистерии крестит весь народ зараз.

Светлов к этому моменту уже и хлопал по моему теплому плечу, и смеялся невпопад, и тряс забубенными размокшими волосами, то есть симпозиум был в полном разгаре.

— Наш храм везде. Наша земля, наше небо, наш народ — и есть наш храм. И наша вера — такая же. Наша вера — патриотизм... Это у них там — баптистерий. — Светлов передразнил кого-то невидимого на стене. — А у нас баптистерий, — и голос его обрел благостно-гну-савое исполнение, — наш баптистерий — сразу вся страна! Мы не можем делить на то, на это. Пальцев на руке не хватит. Цифр, количеств не найдется. Топоры ступятся от зарубок дубовых. Поэтому

мы и верим сразу во все. А объединяет наши веры... вот объединяет наши веры... а вот объединяет — это уже одно, это уже как следует — это одно! Одно! Это и есть настоящее! Наша религия... эммм... — Он провел пальцем по распухшей губе, как будто сдвинул с нее слово. — То есть вера наша — это патриотизм! Государственность как вера... Потому что она есть идея, идея русской государственности. И гоним мы в нее все, что угодно.

— Все, что нас не убивает? — то есть.

— Неет, все, что делает нас сильнее! А не убивает — это у них, ихнее. Потому-то нам нужен и многорукий Шива, — раз, — и многоножка-прогресс, и орел византийский двухголовый, и азиатский прищур, и европейский дизайн — это два, и три, и четыре, и пять, и тыща! Все, все нам нужно. А наивысший извод нашей веры — государственность... го-су-дарствен-ность, — мягко, по-кошачьи пропел он, сладко и любовно, будто затеняя от солнца за пазухой потаенное, нательное, сокровенное. И по-гусиному вытянув шею, прижал ее вниз. — В государственности — наш уют, наша соборность, наша колыбель.

— А у них разве не так?

— Где: у них? А, нет. У них, это, эконо-мика, — по-восточному пренебрежительно окислился рот чекиста. — У них гешефт, туда-сюда, протестантская этика, твоя-моя продавай. Там же ничего святого. У них же все, весь фундамент тысячелетний до самых афинских археологических слоев — до мраморных прожилок — это экономика. — И начал с мизинца загибать пальцы. — Это так называемая «демократия», гуманизм — которые ничего конкретного ведь не обозначают. Это вообще нечто форменное, чисто «гробы повапленные». Да... — Симпосиарх откинулся на спинку, дремотно, высокомерно смежив очи, словно в прищуре провидел археологическую даль. — Да, у них, конечно, все красиво — скульптура-архитектура, Леонардо-Микельанджело. — Поцокал язычком, вхолостую пожевал губами и запил паузу квасом. — Это у них есть, этого не отнять. Но опять же, — и горизонтально заколебал растопыренной ладонью, — это внешнее, бессмысленное, наполовину бессодержательное. Ослепляющее, завораживающее, чарующее через внешний взор прелюбодейание ума... Прелюбодейание — и к тому же — ума. Внутренний взор — неизменный, успокоенный, укорененный, молчаливый и верный — это наш взор, наша религи... наша вера. И никому ее не стронуть.

А засим... — По-медвежьи ухватясь за поросячьи бока полубочонка, много выхлебал, гоняя глотками терпеливый кадык, проливая на пухлую заволосатевшую грудь слипшимися ручейками румяно-сладкий, такой-растакой пряный, сам собой живой квас.

Я приложился следом, но слегка, не углубляясь.

— Ох, — застонал он от удовольствия, заикал, снова по-гусиному дергая шеей, но уже назад, заискрил разлегшейся на голосовых связках хрипотцой, — ну квасок! Если б знали вы, как мне до-о-ороги-и... — Но тут прервался, вспомнил что-то важное, мановением покачулся к краю скамейки и поманил меня пальцем к своему уху, движением выделяя мочку и угол нижней челюсти. От него раздалось:

— А вот теперь ты мне скажи откровенно, что ты за мужик. Давай говори, не стесняйся.

— Что говорить? — Я наблюдал. Опыянение нашло на Светлова резко, по-штормовому, и теперь он был похож на сумму вещей, плававших в полузатопленной лодке, которые от волны подавались одновременно и равномерно туда и сюда.

Он и здесь, в таком состоянии вел свою вербовочную работу, — неспроста же вся эта патриотическая баня и болтовня под запрошенный алкоголем квас. Но не успел, не справился. Хмель настиг чекиста в тот самый момент, когда шаман должен совершить обряд инициации над новобранцем. Но плох тот шаман, который уходит в астрал всерьез и раньше новообращаемого. Впрочем, по тому, как он взялся за веничек, прятанный под скамьей, это был еще не конец инициации, светловские ярко-пурпурные запятыя еще не заплескали щеки гигантскими кляксами.

— Ну, вот я тебе рассказал... почти про государственную тайну... что наша власть, в пределе то есть, будет стать религией, — глупо засмеялся, не успев на этот раз поправиться. — Надо задействовать те же меха... механизмы воспри-и-ятия и подчинения те, что и религии... в бессознательную, слепую веру во власть. В «мы», но не в «я»... А ты не хочешь. — Светлов с деланной обидой отвернул лицо. — А ну, давай расскажи! А то, знаешь ли, как в песне: «...а сало русское едят».

— Ну... я согласен... я во все это верю...

— А вот если я тебя веничком? — Шутливо припугнул он.

— Можно и веничком... по-русски...

— И с квасом?

— С квасом...

Как ни в чем ни бывало, Светлов проглотил очередную, «трезвую» порцию кваса, похлестал округлые, обмылочные плечи бан-ным инструментом и заговорил как по писаному:

12. ЛЕГЕНДА О ВСАДНИКЕ НА БЕЛОМ КОНЕ

«В древнестарые времена же, зовись они, преждеобычно, верме-нами, не повредь тарабарская мовь намо, стерегомый рекой Ло-котью под горой Гарудой залегал чудейно-престольный град Де-ванагар. Шито-крыто в нем числилось не вемо сколько-нисколько кровлей частных, публичных-государственных, арендованных, за-брошенных, либо прикупленных тертым каким-либо иззамирским купчиной.

Измамирская шантрапа же вадилась изрегулярно по нашу дева-нагарскую мирь — в мiру нашу, полого-гладкую, плодородивую до-лину сиречь говоря. Кровлей, как писано-переписано по летописям доподлинным, непрочитанным, неглянутым, было не ведь какая тьма. И пестрило их, с горы глядом покатыя, — красным, голубо-сизым, зеленой переборывая тучную пажить, дуброву бережли-вую прохладную, прежелтым золотом ярче утреннего Ярилы, — и всеми, не разбери числа их, окатывало гору необъятную как бы же крылом Диво-Птицы перламутрово-перлово-горяцей.

В Граде-под-Гаруды сиживало-живало челдобреков народа уйма вселенская — что по числению научному начетников тотмашних персицких было Русь.

Русь деванагарская, говорю, жила-была вольно, добро, вольгот-но же разбредая по миру, как пальцами сквозь деготно-вороную шерсть козью.

Кормилась Русь: рыбьими пудами, ловимыми хлопками по ко-лено вступивши в Локоть; зверьем, полого бегущим до дыму домóвому на развиле вилово; птицей глупой же жирной; ягода-ми же красными масляными, на поляны тучными, пухлыми губа-ми выплывшими; а грибы — сладкие, бело-пудрые — хрустели под пяткой ребятки: ино только ступали они лесным угодьем.

Шкурка же соболя звалась и береглась там же денюжкой.

Одевалась Русь разنو и презатейливо.

Управление стояло мудрое и неизвестно какое. Во главе же сидел на стольем чине Блин. Могуче да лениво никому не ответный самоправитель. Потому не боямый, не дававший никому отчет, что на Ярилином восходе взъезжал на Гору-Гаруду в конском сиянии белоснежьем конник — защитник Руси, Калки. Как подымет-ся, как взъедет он, как хорами небесными задрожит, перекатит-ся громьей повозкой по воздухам от сего сѣя, неземного воссияния такая мощь, что трепетно карлам немечьим и ханам постепечьим — под защитой былинится Русь: то-то же, не кажи глаза воровскова и меч отверни от сего да.

Так былинилось-забылинилось, что ничья память стала.

И Блин, и белоконник, и Гаруда-гора — как сны посреде летнего дня столбом солнечным держали небо над Русью.

Да пробуждались, отряхались от вора прошлого; уже Гаруда, расправя воскрили, птицей-горой семицветной, — камень ее клюв нетесанный, — тако вспрынула, дала клетку и, ветрами вознесясь, опустошила место, сделав Дикое поле. Белый всадник же, Калки, меж крыл птичьих белой же белой мечтой воссиял на прощанье.

И повелось, что и свои, и чужие стали сами по себе как-то не так. То зверь поизведется в лесном угодици, то приворует кто земли Руси, то рыбы, то мяса, то шкурку понадерет се — и в лес. Домы уже не те, город распилили на делянки, и в Диком поле хорь ли, саранча живет и набегает.

Памятует Русь о всаднике, и говорит-приговаривает, завидя свет: придет же он, на белом коне, сам стегнутый тенью исчерна-многоцветной; придет: ждем, всадник на белом коне; придет: будет, как встарь, в староватые вермена...

А пока приговаривает, тут и там вставши по краям земли, беззаконники, веревки понавив, канатами да тугими перегородили Русь, да все, что промеж, — попади в просак; а они, беззаконники, веревами крутят, мутят мутовками, пахтают, значит, землю, да все, что промеж; да пахтаньем выбивают из народонаселения налоги праведные и неправедные, откаты, взятки, навороватое разное; тако и есть их пахтание заработок, добывание у народонаселения материальных ценностей...

А, говорят, все ж видели белоконника то там, то еще где. То объявился, болтают одни, на границе с чудью, то в деревне какой

мальчик растет на царский трон, то, некоторые умники де вежливо сетуют, что своего надо бы растить самим для себя, своих нужд, мол, воспитывать и образовывать.

А Русь как бы и в девках ходит по ши поры да пождет обещанного белокошника с незапамятных вермен. Потому и говорят о неведомом девкином ожидании: ждет-пождет, мол, принца на белом коне».

Тут Светлов прыснул и затрясся со смеху животом и грудью. Уже совершенно пьяный, не контролируя движения, зачерпнул венником из своей великаншей кружки и, хлеща им, словно кропилом, окрестив меня, разбрасывал крупные гроздья кваса по всей сауне, фамильярно, глумливо, нараспев, заверещал:

— ... посвящается в аватары верховные... вместе с квасом и патриотизмом... навеки в аватары верховные...

Под скамейкой балясинами без перил смугло прятался ряд бутылок импортного баварского. Прямоугольно-смирные грани короткогорлого шотландского виски аккуратно оберткой вниз ничком сгрудились возле ножек.

Ничего не говоря, без предварений и послесловий, Светлов уронил голову, словно тяжелый амбарный замок, на свою широкую чекистскую грудь и моментально уснул.

13. ВОЛНУЙСЯ ПОДО МНОЙ, УГРЮМЫЙ ОКЕАН

Совершенно измученный трехчасовой беседой я вышел из бани. На самом верху крутой лестницы стоял охранник, дожидавшийся меня проводить обратно. От браги, составленной из кваса, патриотической болтовни, баварского, виски, повсеместного запаха веника, собственного внутреннего голоса, настойчиво бубнящего в голове, я не сразу понял, что голос вовсе не мой, а охранника и что рассказывает он вещи вполне полезные. Удивленно замерев на месте, прокрутив его слова в голове, я спросил:

— Не все действительно разумно?

— Не все, согласен, — рассудительно ответил охранник и обернулся, застенчиво улыбаясь.

— Вы — откуда? — шепотом спросил я, указывая выгнутым из кулака большим пальцем вверх.

Он радостно закивал. И я тоже закивал и подошел совсем близко. В голове крутился один-единственный вопрос, не оставлявший меня в покое, пока я был на госдаче:

— Как тебя зовут, парень? Сколько вас таких, как ты, здесь? Похожих на тебя?

Он снова заулыбался — той же застенчивой, невероятно знакомой, пока не распознанной улыбкой. Но ничего не ответил. Пожал одним плечом, словно не понял либо согласился.

— И что теперь делать?

— Идите за мной.

Мы ускорили шаг. Моей усталой заторможенности, медлительности как не бывало. Я приободрился, почувствовал волевой прилив и возможность поскорее улепетнуть отсюда на Лапуту, Летающий Остров.

Буквально подхваченный под мышки вихрем скорого освобождения, я не сразу сообразил, что на мне все тот же античный хитон и сандалии, способные доставить резонное удовольствие неприятельному Сократу или Диогену, но никак не мне, собиравшемуся удирать отсюда сквозь мороз и метель.

— А как же вот это?

Озабоченно осмотрев мой эпикурейский наряд, охранник решительно продолжал путь, косясь из-за плеча на хлюпающие шлепанцы.

— Возвращаться за одеждой слишком опасно... Но не все так страшно.

Перейдя через порожистый мостик, — его-то я и заметил по дороге в баню, — охранник остановился, и только теперь мне удалось догнать решительный спокойный военный шаг своими суетливыми подпрыгивающими перебежками: сандалии были приспособлены разве что для медлительных философских прогулок, но никак не для побега, и постоянно соскакивали.

В стене был затененный нишей вход — с висячим амбарным замком в проушинах, выкрашенный в черное. Щелкнув ключом, охранник снял хоботок замка, толкнул дверь, — она кисло скрипнула, — исчез в темноте проема и потом, легонько схватив меня за свободный конец «гиматия», втащил внутрь. Включил свет. Это была тесная подсобка. По углам нескладно митинговали черенки садовых инструментов. С потолка грозили обвалиться лейки, шланги и прочий поливальный скарб, прихваченный крюками.

Морозец приятно концентрировал тело после парилки и браги.

На полу возвышалась горка, образованная шубой, — моей мифологической спутницы и спасительницы во время прогулок, — из-под которой торчали черно-угольные кончики моих же чувствительных валенок. Сверху разлаписто кемарила ушанка.

— Пожалуй, только вот это, — тревожно сказал охранник, рассудительно указав одной ладонью на них, — но оно гораздо лучше, чем это, — еще более рассудительно указал другой развернутой ладонью на хитон и жалкое подобие сандалий.

Я сменил одежду, и мы вышли из подсобки на улицу.

Метель уже давно закончилась. Стояло торжественное раннее утро. Дворцово-мраморные снега как бы говорили: вот тут вам горизонталь, а вот — вертикаль. Четкое разделение, и никаких плавных переходов. Воздух прозрачен. Свет только-только нарождается. Начало времен. Дорожки не расчищены. Мы идем первобытными аборигенами земли через сугробы. Сосны глубоко утоплены в снег, вокруг стволов — намоины снежных потоков. Охранник ведет меня дальше в парк, в сторону, противоположную, куда мы обычно ходили на прогулки. Понимаю, почему. Память сориентировала: в тот раз, когда я встретил Полкана, солнце за забором садилось. То есть там — запад, закат. Правильно: теперь мы идем на восток, на рассвет.

Охранник впереди меня разверзает пространство упругими широченными шагами, проминает его, прокладывает новую дорогу. Пробуравливаем нехоженые широты парка. Сосны здесь реже, воздуха — больше, и свет появляется издалека, всходит над забором прозрачно-серым сиянием.

Неожиданно остановились посреди поляны. Охранник вытаптывает небольшой пятак, обходит его и протягивает мне канат. Он сброшен прямо с небес, из неясной пушистой тучки. Прямо оттуда, сверху, невероятным гостем, как в сказке про Джориана. Охранник улыбается детской широченной улыбкой, смеется, приподнимает канат, показывает, что его конец раздваивается для деревянной подставки. Под ноги, значит. Охранник дергает канат трижды. Ставлю на подножку одну валенку, вырвавшуюся из снежного плена, вторую. Хватаюсь за толстенную, запорошенную веревку. Навострил воротник, поживаясь: полет предстоит серьезный! Медленно, неуверенно, тяжело отрывая от земли, словно преодолевая магнитные силы, меня начинает поднимать.

— Механическая лебедка... — еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться во весь голос, шепчет охранник, делает движение, будто крутит ручку невидимого киноаппарата.

Поднимаюсь. И в голову приходит все тот же вопрос:

— Как... как тебя зовут, парень?

Он беззвучно хохочет, похлопывая по моим валенкам — мол, давай-давай, — они уже на уровне его груди. И улыбается, улыбается — детской, широкой, солнечной — гагаринской! конечно же, гагаринской! — улыбкой:

— Ваня, — говорит, — Ваней меня зовут!

— Иван, значит... так и есть.

— Поехали! — говорит Ваня.

Выше, выше, быстрее и быстрее.

Не оставляя тени.

Скользить на воздушном лифте. Здесь воздух, здесь ветер, здесь свет.

Ваня уходит обратно. Как же он теперь там? Следы, преломленные в мраморе ночи, сливаются с тенью, исчезают. Сосны щетинятся заграждениями к даче. Домик выглядит мрачным, безликим, остроугольным пеньком, тряхни который — и посыплются государственные секреты, интриги службы госбезопасности, крючки, сети, силки агентов вербовки, планы сомнамбулического охмурения населения всей страны.

Но здесь — ветер. Сюда не поднимаются сны Верховного. Здесь — бодрость, бессонье, самодеятельность, свобода.

Внизу кочковатыми скатертями простираются заснеженные поля; неровным ковром, то густо, то разреженно занимают землю леса.

В искаженной линзе горизонта грядет беспредельный рассвет над страной, покрытой облачными островами.

Ветер обдаёт лицо синими, лиловыми, розовыми потоками снега — это так кажется глазам на сияние рассвета. И мне так и видится: возношусь я древним божеством над этим серым, несвободным миром — сам в сиянии и неприкосновенности для тьмы. Протягиваю руку дальним берегам, словно молодой Пушкин, отраженный в разлете петербургских каналов, взлетаю вечно-юным аватаром, воплощением свободы, радости и рассказываю, повествую возрождающе-муся миру о новом по-новому:

*Шумы, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...*

Это я кидаю слова прощания всяким-разным темным, замороженным Светловым. Раз ты такой знаток древнеиндийской мифологии, знать *должон*, что это такое — преодолевать океан! А значит это, дорогой вы наш Михаил Васильевич, разговорчивый, циничный и двуликий, переплыть океан — это значит победить сансару! Так ведь? Нужно переплыть океан, пока есть судно! Не упусти лодку человеческого тела! Вот и я, пользуясь случаем, хочу передать вам привет, бросая слова на ветер.

*Лети, корабль, неси меня к пределам дальным,
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей.*

Это уж точно! Как будто лично мне говорит классик: моря — обманчивые, берега — печальные, скучные, унылые, старые, а родина — туманная, затуманенная дурманами-сновидениями Верховного.

Так что,

*Шумы, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...*

— и давай прощевай!

Подо мной морской рябью проносилась огромная страна, закутанная в шубы мифов, обвязанная байховыми шарфами, байками, сказаниями: вот города — в плотно нахлобученных ушанках, вот веси — в допотопных валенках, чтобы не убежать далеко. Вот вся земля, круглясь, словно сонное тело мальтийской «спящей леди» почивает. Дать ей пинка, оборвать, раздеть, пусть проснется, пораскинет умом, вскочит и побежит!

Я срываю ушанку, сдергиваю валенки — подавитесь своими махровыми подарками! — выкручиваю руки, — как из заломивших их канатов, — из чекистской шубы и швыряю ее ветрам на растерзание!

14. ОТ ЧЕ ГЕВАРЫ ДО ЧЕЖОПЕНКО

— Ну-с, приступим, — произнес Юра, прищурившись, затаил дыхание и быстрым движением в низкой, уважительной позе вопрошающего опрокинул содержимое стакана в рот. — Ну, вы, батенька, даете. Еще бы минут десять — и поднимали бы мы не пламенного актера больших и малых театров, а замороженную скульптуру жертвам режима переохлаждения. — И подоткнул мне поближе к подбородку стаканчик с водкой. — Не пьянства окаянного ради, но здоровья вашего для, дядя Вова!

— Умеешь ты сказать, дядя Юра! Твое бы красноречие — да пред светлые Светловы очи, а не тратить втуне среди дремучих летучих партизан.

— Ну... эт кому судьба какая. Махать кулаками после драки — это каждый может. У нас тут тоже, между прочим, дел хватает. — И предъявил мне стопку бумаг. — Ух, и заварушку мы затеяли!

Бумажки были листовками. Я вполголоса зачитал, пропуская смысл написанного мимо сознания, — во всех листовках в мире напечатано одно и то же, — и задержался на последнем — на подписи.

«Команданте Чежопенко».

— Это что за чушь? — спросил я с негодованием, глядя на Юру снизу вверх.

— Вот и не чушь! — Юра продолжал в том же духе, наполняя стаканчики заново. — Вот и не чушь, совершенно! Мы — актеры сатирические, бьем словом и образом. Слово наше должно быть словом — и крепким! И образ, ему соответственный, отставать от него не должен. Крепкое слово крепкой же образностью подтверждается! — Юра еще раз выпил. И продолжил со сморщенным лицом, которое постепенно разглаживало выражение удовольствия: — Чрезмерная серьезность, ваше аватарское величество, будет говорить только о нашем серьезном принятии режима, о страхе перед ним. А мы должны, как настоящие нищиеанцы, быть веселы, непоседливы и непосредственны, как ребенки. Мы играем. Играем всю жизнь. И не только роли играем. Саму жизнь играем. Играючи глядим в глаза пропасти — вон она какая внизу! — эй, Кипелов, какая высота, говоришь? тысяча сто? — глядим пропасти в глаза и не хотим, чтобы она тоже осмеливалась глядеть в наши. Мы покажем ей зубы!

— Но не зады же!

— Товарищ Вова, — произнес Юра, нисколько не пьяный, — методы ведения оппозиционной борьбы со времен товарища Че существенно изменились. Как ты понимаешь, мы не можем серьезно противостоять материку. — «Материк» здесь уже давно был устоявшимся понятием, содержащим все денотативные и коннотативные глубины совокупной жизни, протекавшей на твердой земле внизу. — Наша задача — разбудить, раззудить пчелиным ульем страну. А сделать это возможно только нашим им-ма-нен-тным оружием, как ты понимаешь. То есть смехом. Шутовским, ско-мо-ро-шим. Товарищ автомат Калашникова не для наших творческих рук.

— Ладно, товарищ Бережной, то есть команданте Чежопенко, какие ваши будут дальнейшие указания?

Юра Бережной, как было сказано когда-то давно, более двух тысяч строк выше, был одновременно продюсером, бухгалтером, водителем и руководителем отдела кадров нашей маленькой, уже не существовавшей труппы. Помимо обладания практически гениальными организаторскими способностями, ему удавалось играть трагические, а иногда и женские роли. И об этом как раз время поговорить. Прошлое Юры — невпроворот большое, разное и сложное. Когда-то ему приходилось играть и военные роли. На полном серьезе: из армии он вышел в звании старшего сержанта. Вернулся в архитектурный, закончил учебу и готовился уже стать штатным архитектором, когда судьба подбросила ему выигрыш в лотерею. Красный, отлично блестящий автомобиль отечественного автопрома. Поэтому он продает свою старенькую «ладу» и планирует посвятить весь следующий год старой задумке — путешествию по родной стране в поисках интересных архитектурных решений. Выехал он одним человеком, а вот вернулся — не через год, через три — уже другим. И не в авто, а на попутке. Родная архитектура, которую он желал лицезреть в городах и селах собственноручно, отодвинулась далеко назад. Картины жизни в провинции, в глухих закоулках периферии заставили его душу пройти путями многих людей — через их профессии. Сначала он стал рабочим на стройке, дорос до прораба, выстроил многоэтажный дом. Ушел в народные промыслы в заповедных деревеньках, стоящих на воде между небом и землей, резал ложки, плошки, узорные черенки из вязовой заболони, лепил звонкие свистульки, потайных озерных животных, драконоголовых сфинксов, хвостатых нетопырей, лягушачьих принцев со шпорами

на рогах; перегнал на гончарном кругу глиняное тесто в сотни чудожудо кувшинов, амфор и прорешеченных корзинок. Стал скотоводом на Алтае. Гладил в степи «каменных баб». Беседовал с шаманами. Поднимался с ними к духам. Чуть не перешел в буддизм. Дошел до невидимой границы с Монголией. Остановился и вернулся на Урал дальнобойщиком. Гонял грузы до Владивостока и обратно. Попал на «летающий остров». Строил правительственную резиденцию на ста пятидесяти гектарах. Вместе со стройотрядом был перекинут в Москву, дислоцируясь на седьмом, самом высоком уровне «островов», возводил купольные перекрытия дворцово-храмового комплекса, сидел на их верхушке, жуя ватрушки, и с высоты видел полстраны, затянутой производственными дымами, осенними дождями и опаловой синевой северных морей. Подался охранником в кинотеатр, пия горькую. За ползимы пересмотрел кинорежиссеров-шестидесятников, за другую ползиму — перечитал писателей-деревенщиков под вельветовым зеленым абажуром. И уже было вспомнил про красный, новенький автомобиль, припаркованный на стоянке в Казани, как решил стать актером. Путешествуя до Татарии уличным музыкантом со склонностью к перформансам, переиграл в районных и субрайонных театрах роли от мороженщицы в парке Горького до Гамлета из Эльсинора. Отыскав всеми правдами и неправдами свое состарившееся под открытым небом авто, продал его, погасив на половину суммы чеки за стоянку, поехал на поезде в Нижний и встретился в купе со мной, возвращавшимся из Севастополя и бросившего там роль матроса Кошки.

На оставшиеся деньги мы провели ночь в вагоне-ресторане за интересной беседой, приятной выпивкой и делением ненароком сохранившегося капитала на разные статьи совместного театрального прожекта.

Остается только добавить, что выйдя за порог гостиницы в то туманное подтаявшее зимнее утро, когда нас сжал в свой крепкой властной длани полковник Смирнов, Юра намеревался всего лишь добежать в подштанниках, майке и гостиничных тапочках до ближайшего ларька с алкоголем. Первый оказался закрыт, второй — только открывался, пришлось искать третий. Каким образом ему со всем своим антуражем и свеженькой бутылкой удалось отыскать одежду и вернуться к цивилизации, осталось для меня секретом. Или одним из тех чудес, которые часто происходили в Юриной жизни.

Теперь о женских ролях.

Через месяц после того как нас с труппой арестовали, он, воспользовавшись невероятным актерским перевоплощением в женщину, проник на один из «островов» вместе с партией штукатурщиц, среди которых находились также переодетые в профессиональных путан самодеятельные актеры. Пробрался ночью, связал немногочисленную охрану. Захватил пункты управления. И увел «остров» в сторону Урала. Несколько раз его пеленговала «небесная полиция». Ему чудом удавалось уходить, используя какое-то невероятное везение. Внезапно оказалось, что под его началом еще два подобных «острова». Все эти «острова над страной» рассекают пространство совершенно безнаказанно, появляясь тут и там, агитируя и тэпэ и тэдэ. Команданте Чежопенко, в свою очередь, подняли на щит различные оппозиционные организации, до того сидевшие тихо и невидимо. Герой, «новый Че Гевара», бунтарь, посмеявшийся начать то, что другие осмеливались только подготавливать и ожидать. И вот он пустил опадающими на «материк» листовками слух, что как будто бы провозглашается «небесно-уральская» республика, на подветренных, высотных пространствах которой находят себе приют «свободные духом».

— ...И это вполне осуществимо, — заканчивает Юра свою речь. В пальцах его, сложенных лепестками, царствует стопочка, поднесенная к настенному фото Че.

И я верю: агрессивность, бунтарство, любой авантюризм и деятельное нетерпение, конечно, в корне характера, в плоти и крови Юры.

15. I HAVE A DREAM

— Левее... левее свет! Три камеры спереди! Семочка, миленький, не забудь одну сзади, прямо на макушку, на самую маковку Верховного! Сверху и сзади. Взгляд из паучьего угла. Я сказал, свет выше и левее! Левее правой руки и выше, чем... Так, дядя Вова... — Прищурившись, Юра по-родительски осмотрел меня. Поправил «бабочку», помахал гримерной кисточкой, распространяя пудру. Подошел к аппаратуре, сам подключился к настройке. — Ну-ка, Вовчик, поговори мне тут.

— В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик лавировал-лавировал, да не...

— Нешто наш текст хуже?

Я взял сценарий. В отличие от последних, написанных внизу, в теперешнем была прямая речь. Выделенная красным фломастерным прямоугольником. На полях нетерпеливо подпрыгивала, раскидывая башмачки точек, стайка восклицательных знаков.

— Ну, начинай... — напряженно прононсируя, бормотал команданте, поглядывая то на дисплей камеры, то на датчики звукозаписи. — Нашу, нашу давай... Сделаем пока дубль.

Текст я читал ранее. Он мне не понравился. Хотя составлен был талантливо.

— А у вас есть время? Да, скажите, пожалуйста, есть ли у вас время? Нет, не для чего-то конкретно... Просто время. Время на просто так. Просто время... Вы поймите меня правильно. Нет, подождите, я понимаю, да, это смешно... это несвоевременно? Минуточку, кто бы вы ни были... гражданин или гражданка, или поэт, или... Ты думаешь, это смешно? Вот это: про гражданку?

— Не отвлекайся! Это политкорректно. Англичане поддерживают.

— Лучше: гражданин или сотоварищ.

Юра отвлекся от настройки, причмокнул губами, как присоской:

— Гражданин, товарищ, господин хороший, джентльмен удачи — это одного поля ягода. Понимаешь? Здесь у нас, наверху, несть ни эллина, ни иудея. Давай срочно вживайся в роль. Я почти настроил.

— Кто бы ты ни был: гражданин, поэт, — остановись на минуту, на секунду... На мгновение! На миг, которым в твоём сознании живет мысль о свободе... Знаешь, у меня есть мечта... У меня есть мечта, что однажды, возникнув, высоко-высоко в небесах, в высоких-высоких странствиях духа, тяга к свободе перерастет в нечто большее, совершенно новое. Каплей от капли отделившись, она прейдет границы земные, прейдет заставы воздушные, удесятерится, умножится сторичей — и, возникнув прежде одиноким облачным островом, разделится на тысячи и тысячи подобных, чтобы окрепнув, выросши, сплотиться вместе, пройдя и презрев разобщение, и новым мировым материком, будучи когда-то только приютом для малого количества, спустится на континенты человеческие и покроет всю землю, с ее прежней несвободой, с властью политической человека над людьми. И земные обитатели, называющиеся по праву только истинно под-

земными рабами, наконец станут жителями горными, светящиеся свободой из речей и из взглядов своих, из ладоней и из деяний. И каждый шаг, и каждая поступь их будут бескорыстны и направлены не ради капитала, скопления богатств индивидуальных, но ради прогресса нового небесного человечества. У меня есть мечта...

Раздалась тишина. А потом несколько редких, но сильных хлопков.

Речь была сымпровизирована. Юра округлил глаза и поднял ладони, пародируя жест «сдаюсь».

— Ладно, неплохо... Все мы услышали твой призыв и сняли твою физиономию с разных ракурсов. А теперь заново, строго по тексту, строго в роли главного божества, а не одного из его миролюбивых аватаров. На старт, внимание...

16. УЖЕ НАПИСАН ВЕРТЕР

«Остров» поднялся в шестую, предпоследнюю зону. Здесь его точно не могут запеленговать. И ушел в полную отключку, дрейфуя «накатом», по инерции. Я бродил по устланым инеем тропинкам. На ровной платформе «острова» — облегченная имитация почвы. Несколько зданий, затянутых для маскировки какой-то беловатой парусиной или брезентом. Здесь всегда ветер. Во время хода Лапуты передвигаемся между зданиями на ней, держась за канаты, протянутые вдоль дорожек. Но сейчас тихо. Движемся незаметно, звезды без мерцания лежат в самой глубине космоса. Между мной и ними никаких границ, небо прозрачно родниковым арктическим воздухом.

От нас не остается следа. С нами никакой связи. Час назад мы через спутниковый интернет скинули очередную порцию театрально-сатирических «видеопредставлений» на малазийские сервера и выскочили в «гиперпространство». Так Юра называет режим полностью автономного существования на Лапуте — без электричества, как есть, в «аналоговом» состоянии.

Разрешается только курить и зажигать естественный огонь. В переоборудованном под студию ангаре сквозь вход видно, как скачут огоньки свечей, спичек, плавают «летучие мыши», слышны скрипы стульев. Вытираю влажной салфеткой грим, сдергиваю с шеи «бачочку». Усмехаюсь Юриным шуточкам.

Он подходит, почесывая щетину на горле, вытягивая подбородок и губы. В глазах его сосредоточенность и насмешка.

— Почему бы тебе вместе с ребятами не двинуться дальше? В воздухе ни границ, ни таможи, ни паспортов. Ты ведь давно хотел посмотреть азиатскую архитектуру.

— Ангкор-Ват и Боробудур... да. Но здесь все только начинается. Мы такое тут можем развернуть! Понимаешь, весь этот режим... этот режим... — Юра сделал вид, что задыхается от переизбытка чувств.

— Какой здесь «режим»? Это называется государственностью. Ты просто не государственный, вот и все. При любом настоящем, уверенно держащимся на ногах руководителе будет такой же «режим». Да, тебе он не подходит. Не подходит, может, массе людей, желающих не только свободно мыслить, но и действовать в большем масштабе, чем позволено *текущей*, данной государственностью. Внутри другой государственности все равно другая масса людей будет недовольна, но уже чем-то другим.

— Ого! А из-за тебя, между прочим, люди рисковали! Со Светловым было интереснее?

— Мне не нравятся все эти новые сценарии и «видеообращения». Довольно-таки низкопробные и малохудожественные. Мне противно в них участвовать. Они просто чудовищно тенденциозны, они ангажированы, они несправедливы! Конъюнктурны! Да, когда мы были внизу, нам было очень трудно говорить свободно. Вплоть до того, что речь превращалось в мычание. Но это было возвышенное, сублимированное до творчества мычание. Понимаешь? Там был нерв, игра по-настоящему. А здесь? Здесь мы используем наше временное стратегическое превосходство, закидывая противника сверху, извините, какашками. Ни с чем другим наши теперешние сценарии сравнить невозможно.

— Ты, может, до конца не все осознаешь. Но ты верно сказал — «временное превосходство». Мы в меньшинстве. Я этот нерв, о котором ты говоришь, в отличие от тебя, чувствую. Я живу с ощущением «презенса». Того, что каждый сценарий, каждая съемка могут быть последними. Если нас отловят, то разговаривать с нами будут уже не Светловы. И договариваться с нами ни о чем уже не станут. Это придает мне, всем моим мыслям и действиям, ощущение правоты, придает энергию делания... И да, я не хочу, вообще не хочу думать ни о каком твоём «мычании». Я — буду говорить, говорить, говорить, о

чем мне захочется. Как захочется, когда, о ком или о чем. Хочешь мычать — интересно, простым или изошренным мычанием? тайным декабристским мычанием? — спускайся и мычи!

— Ага... уже написан Вертер... окно открыть, что жилы отворить...

Юра отвернулся и сымитировал жест отчаяния — с силой махнул рукой, как будто бросил камень. Он же артист. И организатор. Ему нельзя до конца верить. Цель оправдывает средства. Он авантюрист. Неизвестно, насколько далеко может зайти.

— Послушай... это... то, что мы начали... это наше общее дело... эта антреприза... понимаешь... ни я, ни ты тогда не знали, когда все начиналось, для чего мы творим, что нами движет. Эта подрывная деятельность, антигосударственная, анти-какая хочешь, — это все было направлено ради свободы. Свободы выражения мысли, свободы несогласия. Самого принципа свободы. Свободы просто быть. Свободы ничего не делать, если не хочется... От театра, от антрепризы с нашими сценариями мы пришли к необходимости распространения свободы. «Остров» — это логичное продолжение театра. Но на максимально возможно свободном уровне. Такая удача! Надо двигаться дальше! Надо просто идти, тем путем, который складывается. Театр должен быть преодолен. Мы начинали с этого. Но почему мы должны в нем остаться навсегда? Театра — мало! Нужна жизнь! Вся жизнь, весь мир нужен!

И я был нужен, я был нужен Юре.

— Если ты уйдешь, все провалится. Понимаешь? Вся наша антреприза, начавшаяся как дружеский проект, закончится. А могла бы продлиться. И в каком, батюшки, масштабе! Могла бы выйти из стен театра, могла бы прийти к людям в жизнь, сама могла, — может! — сама может стать жизнью! Представь только!

— Точно! Как же я не догадался... весь мир — театр, люди в нем — актеры.

— Да брось! Это актеры — люди, это театр — мир! Идеи зарождаются у всех. У прорабов, у пастухов и шаманов. У алкоголиков. Гениальные идеи мелькают трассирующей нитью через умы обычных людей каждый день. И тут же забываются, как всего лишь забавные. Это литераторы, сценаристы занимаются ими, собирают и лелеют. Ставят в театрах, приручают искру и влагают ее внутрь «волшебного фонаря». Но дальше дело не идет. А я — я же предлагаю перейти из театрального пространства в жизнь. Как давно бы и следовало сде-

лять. Актер — не просто актер. Актер, играющий Верховного, уже и сам способен стать Верховным.

— Максимум — его аватаром. Я-то знаю.

— Минимум, — подхватил Юра, — минимум, дружище! Максимум — это... самим Вишну. Или как его там?

— Ну, выкладывай, что у тебя? Какой дальше сценарий?

17. @

Я снова в пиджаке: дорогом, чиновничьем, похрустывающем, узковатом, но дарующем чувство уверенности, тяжеловесности, защищенности рыцарских доспехов. Не хватает только забрала. Впрочем, моя маска — актерская, но живая личина с другого человека — вполне хорошее такое забрало. Непробиваемое. Наимощнейшее забрало в государстве, в котором лик Верховного способен отражать самые пристальные и пронизательные взгляды.

Опять со мной охранник. Один из армии двойников, специально подобранных для охраны Ларца и даже самих Государственных Палат.

По словам Юры, мы вплотную приблизились к разгадке самой главной метафоры *«русских автохтонных сказок»*.

Про Ларец, подвешенный на Дубе, то есть государственное древо с тысячью управительных веток и побегов, среди которых в густой документационной листве спряталась правительственная резиденция. В Ларце на мягком сенном ложе покоится Яйцо — то бишь овальный кабинет управителя. В кабинете — закаленная, неломаемая Игла: несгибаемая государственная воля.

Но вот есть ли в Ларце утка? И что есть утка в данном случае? И не есть ли в данном случае она — некоторое иносказание? А если и иносказание — то не может ли повествовать о государственности в целом? Не является ли эта Утка, в отличие от газетной, неким метафизическим ядром нашего бытия? То есть все в нем пребывает в такой метафорической Утке, в таком вот *уточном* состоянии...

Я не знаю, как зовут моего сопровождающего, перевербованного Юрой в нашу пользу. Чем-то он похож на Ивана со светловской дачи. Выправка. Прямой, спокойный взгляд. Откуда Юра их всех берет? Ведь тоже вербовщик хоть куда. Встретиться бы ему со Свет-

ловым. Как пить дать, неизвестно кто кого перевербует. Юрины люди, похоже, везде. Выходит, то, что он делает, созвучно многим даже внутри системы.

И опять меня везут в один из закоулков государственной Священной СанСаРы.

Автомобиль остановился у ворот громадного государственного подворья.

Это не парадный въезд. Парадного не существует. Частная резиденция Верховного — его личная вотчина. Сюда не приезжают иностранные гости, делегации, официальные лица. Только доверенные, только друзья или подчиненные — в неофициальном порядке. По разным нуждам. Переговорить, договориться, пошептаться. Крыша для междусобойчика. Большая такая, огромная крыша. Говорят, сверху она — идеальный круг.

Из рации водителя доносится хриплый голос охраны:

— Опаздываете...

— Пробки... как и везде... летать еще не научились... — парирует водитель.

Проходит несколько минут. В четырехметровом заборе открывается калитка, выпускает охранника. Он подходит к моему окошку. Стекло, жужжа, съезжает вниз. Охранник заглядывает, вглядывается, почтительно узнает в моем профиле самого главного, конфузится, потупливается, рапортует в рацию. Створки ворот расходятся в стороны.

Въезжаем на подворье.

Я — священная кукла императора. Еще один государственный двойник, разысканный в бесчисленных пазухах бескрайней страны, еще один обретенный аватар, новоприобретенная возможность. Еще одна монетка с августейшим профилем, отчеканенная природой, вернется в государственную сокровищницу. Меня обыскивают, опрашивают, регистрируют, снимают биометрические показатели. Данные сравнивают с оригиналом. Высчитывают процент совпадения.

— Поразительно, — говорит руководитель комиссии, бодренький профессор-патриарх, — Поразительный факт! — Оглядывает меня, увиденного заново с точки зрения цифр, пропорций, совпадений, сравнений, вычислений. — Вы бы могли сойти за... оригинал, так

сказать... со всеми вытекающими... видно, из одного теста сделаны. Вероятно, очень схожий генетический материал.

— Неужели все девяносто девять и девять?

— Нет, — припуская очки, отвечает он. — Вообще нет. Девяносто семь и двадцать три сотых. Это поразительный процент совпадения. По секрету... — Оглядывается. Сбавляет тон. — Это, между прочим, показатель на уровне колебаний внутри сравнений самого, так сказать, оригинала. Я не имею в виду ДНК и все такое. Только биометрия, физиологические параметры, включая голос... Впрочем, — несколько отстраненно и косясь на мое лицо, произносит профессор, — это уже не мое дело.

Снова меня укладывают в футляр чужой власти, отводят каморку в помещениях, приближенных к Ларцу. Окно похожей на келью комнаты выходит в огромный двор, в середине которого парит грандиозной летающей тарелкой черепичная крыша Ларца. Он представляет собой классическую ротонду. Внутри червоточинами проложены ходы лабиринта коридоров с тупиками и ловушками. Настоящий запретный город. С армией охраны и обслуживающим персоналом. Термитник, скрывающийся в самом центре королеву.

— У термитов королева выделяет специальные феромоны, которые рядовые особи слизывают с ее брюшка, что способствует сплоченности колонии, — инструктировал Юра во время подготовки к операции. — Поэтому действовать тебе в Ларце придется очень трудно. И пойдут эти рядовые особи до конца, чтобы сохранить ее жизнь. У нас есть только примерный план помещений. — Он расстелил мятую кальку с изображением китайской конической шляпы сверху. Внутри ее круга, беспорядочно вьась подобно следу от детской юлы, таились тысячи цепочечных звеньев запутанных тропинок, проложенных «рядовыми особями». Они сходились и расходились, разбредаясь, снова сплетались, словно спирали ДНК, взрывались радиальными выбросами из общего центра и где-то на периферии заново стремились друг к другу, чтобы стать только смежными, рядом пролегли трубочатыми телами подземных проходов, которые вслушиваются в звуки сопредельных пустот. — Неизвестно, — продолжал Юра, водя пальцем по ходам, — вообще неизвестно, имеем ли мы дело с подземными ходами или все это проложено в огромной наружной ротонде. Или то и другое. И заучить эти ходы тоже невозможно. Я думаю, что и заучивать нет не-

обходимости. Надо запомнить только вот что... — Юра стал очень сосредоточенным. И однако в этой сосредоточенности сквозила живая любознательность. Игра воображения и переживания. Взял карандаш и легонько, словно боясь спугнуть спрятанных внутри чертежа термитов, провел по нему тонкий, временами дающий фальшивую ноту пробела, красный червячок единственной последовательности, которой следовало придерживаться, пробираясь к «королеве». — Понимаешь, на что это похоже? — Морщинки сошлись вокруг Юриного прищура.

— Пружина?

— ...

— Свернутая пружина, я имею в виду.

— ...

— Ну, тогда спираль?

— Смотри еще раз. — Палец команданте, игнорируя вихляния карандашной линии и его декоративные завихрения, проложил простой путь.

— Змея, кусающая собственный хвост! — осенила меня гениальная догадка.

— Не то, Вовчик, не то! — И он торопливо нацарапал в уголке листа знак «@».

18. ИДЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ САМОУБИЙСТВА

А сценарий выходил вот какой.

Борхес писал об ограниченном количестве сюжетов в мировой литературе. На всю про всю мировую литературу так-таки всего лишь четыре сюжета, четыре тропинки в пористом теле бытия. Ну-ну. И вот они:

— *история поиска;*

— *история возвращения;*

— *история о штурме и защите цитадели;*

— *история самоубийства божества.*

Наш сценарий, согласно данной классификации, впитал в себя все достижения мировой литературы, так как включал все перечисленные сюжеты. Тут вам и история поиска главного божества нашей Майи — Верховного, затаившегося в гигантской ракушке, внутри ко-

нической пирамиды Ларца. Мне нужно искать и найти в глубинах Ларца покой с Верховным.

Здесь также замечательно вписывается сюжет о возвращении одной из аватар к источнику сияния, нисхождения, эманации. Мне очень хотелось «посмотреть да посравнить» иконический облик Верховного с ним реальным. Да и с самим собой тоже хотелось сравнить. Возвращением домой это вряд ли можно назвать. Если только очень сильно символически. Ну, приблизится одно лицо к другому. Но не оригинал же он для меня? Если только я не стану заменой для Верховного, как в идеале планирует Юра. Но об этом — дальше...

Штурм... пожалуй, да, штурм тоже предполагается — но тихий и затаенный, не поход Ясона, но шпионская вылазка Тесея сквозь пульсирующие ходы лабиринта — не к разъяренному быку, но к анатомическому существу. Мне придется избегать ухищрений лабиринта, возможно, использовать оружие против охраны. Юра как-то говорил, что «товарищ автомат Калашникова не для наших творческих рук», но про пистолет Макарова, к сожалению, не упомянул. Видимо, факт товарищества здесь доказывать не надо.

История самоубийства божества... Я, конечно, не собирался предпринимать против Верховного ничего убийственного, — на чем настаивал террористически настроенный Юра, — но до конца не было ясно, чем должна завершиться эта авантюра. Но не считать же самоубийством устранение двойником своего оригинала. Хотя опять же — кто оригинал для кого? Что бы ни говорил на этот счет Юра.

— Помнишь нашу пантомиму? — спрашивал он в последний вечер. — Как диктатор-маньяк, принявший самого себя за двойника, совершает самоубийство, якобы для того, чтобы избавиться от этого двойника. Из-за сумасшествия он не понимает, что не является своим собственным двойником. Что это только плод его воображения. Что последний двойник и оригинал — на самом деле одно и то же, так как оригинал в конце концов раздвоился в собственном сознании. Как запутанно, правда?

— Ну и что?

— Ничего. Просто странное совпадение... Может быть, Светлов был прав? Насчет того, что все мы существуем в сновидении Верховного. Как во сне Брахмы. И все мы — фантомы. И я, и ты вот тоже. Но только в нашем случае Брахма — сумасшедшее божество. Осознающее в конце концов свое сумасшествие. Ненормальность своего

мирового сна. Он догадывается, что его сновидение — уже не загадка для тех, кто внутри сна. Они разгадали подлог. И тогда Брахма изобретает идеальное алиби, чтобы избежать ответственности... Идеальный сценарий для самоубийства. Он в своем сне создает двойника, который приходит и убивает оригинал. Копия уничтожает оригинал...

— Ты чокнутый? Ну, скажи: вот это нормально, что ты мне тут рассказал?

— Подожди, это был бы замечательнейший сценарий... — пролепетал Юра задумчиво, ошеломленно, словно из-под спуда образов и мыслей, завладевших его сознанием.

— И что, по-твоему, тогда должно быть в конце?

— Он создает двойника и... — говорил Юра медленно, упрямо, словно упруго рассовывая книги в зазоры между другими, когда уже все библиотечные полки заставлены, — создает двойника и... и тот идет его убивать. И... и когда убивает... тогда... тогда, наконец, сансара исчезает. Он исцеляет, исцеляет! — просиял Юра ошеломленно. — Исцеляет миллиарды существ от сансары. Они становятся свободными.

— Ага, и вываливаются из его сна в реальность.

— Я такого не говорил. Они, возможно, окончательно исчезают вместе с самим Брахмой... Идеально... Идеальное самоубийство божества... Никто его ни в чем не обвинит... Потому что обвинять, в сущности, уже некому... Идеально гуманное самоубийство.

— Не гуманное вообще! И ничего нового ты не выдумал. Твой любимый Ницше об этом уже написал. Он убил у себя в голове своего собственного Брахму, но, почувствовав неладное в виде пустоты, решил запихнуть внутрь головы самого себя. И не сумев разрешить парадокс, где же он на самом деле: снаружи в виде прежнего Ницше или внутри собственной башки в виде нового Брахмы — запросто спятил. Так что даже не пытайся. Иначе — дурной пример заразителен.

Итак, сценарий должен был включать следующую последовательность событий, параллельную борхесовым архетипическим сюжетам. Охранник из госструктур — Юрин человек — привозит меня как одного из найденных двойников Верховного. На руках у него с невинным видом лежит документ от Светлова: что-де имярек такой-то прошел подготовку, аттестацию и посвящение в верховные аватары. Ниже —

мое мирское CV, характеристика, личная и очень государственная подпись Светлова и печать с орлиными профилями. Конечно, чистейшая, невиннейшая подделка. Далее мы ломаем сложившийся стереотип поведения двойников и проникаем в Ларец. Здесь начинается первая неопределенность. Как отыскать дорогу в покои Верховного, зная только, что траектория ее похожа на знак электронной почты?

«Идти нужно по часовой стрелке, — прямо как на ступенях Боробудура, — говорит Юра, — избегая соблазна заворачивать слишком часто и не попадаться в тупики боковых ответвлений».

То есть траекторией должна быть огромная дуга, которая только в самом конце превращается в огибающий, замкнутый овал. Внутри овала — опять же, по Юриным словам и догадкам, как в «кощеевом яйце», — находится кабинет Верховного.

«Верховный — эта “кощеева игла”, сквозь ушко которого мы должны прийти к успеху», — каламбурит команданте.

Надо попасть в кабинет, связать Верховного и, выдавая меня, дядю Вову, актера-клоуна, за президента, главного лица государственной Сансары, вывезти настоящего Верховного на «острова» и оттуда начать шантаж. Как вывезти? — вопрос уже не просто неопределенный, но даже совершенно неподъемный. И если в целом план имеет свою логику, исполнение его весьма затруднительно, то конечная цель — просто недостижима.

«Это все равно, что войти в мясорубку и выйти оттуда не по частям в виде фарша, но целиком, — говорит команданте Юра Чежопенко, — но другого пути у нас нет».

19. ВЕТЕР В ЛАБИРИНТЕ

Мы вышли до рассвета. В книге про индейца Оцеолу написано, что предрассветный час — самый лучший для нападения на лагерь противника. Возможно, так и есть — нас не заметили, когда мы перешли двор к Ларцу. Мой напарник сунул ключ в неразличимую не-тренированному глазу скважину, провернул его и отковырнул край запрытанной заподлицо со стеной двери. Мы нырнули внутрь плоскими тенями.

Первое, что обратило на себя внимание, — Ларец пах. Словно вырвавшийся из детства, ветер носил далекие летние запахи: в теплых

сумерках, предательски расслабляя, благоухал сеновал. С одной стороны слышалось далекое стрекотание кузнечика из яркого душевного полдня, а с другой — дрожанием лунного серебра на воде заворил ему вечерний сверчок.

Мы ожидали нападения армии телохранителей, химическую атаку, громовые разряды световых гранат, даже явление самого Верховного с оружием мгновенного уничтожения — но отнюдь не этих, не тихих луговых сумерек.

От неожиданности вжались в стену, тревожно осмотрелись.

В обе стороны уходил коридор. Слева, куда предстояло идти, — лежала тьма, справа на полу в перспективе голландского угла тускнели оконные просветы, разделенные крестовиной. Чувствовалось, из окна дует. Но это был утренний холодок. Стрекот и запах доносились не оттуда — а с другой стороны. Сверяясь с планом здания, следуя начертанной Юриным вдохновением линии, подобно нити Ариадны, мы пустились по лабиринту Ларца.

Коридор действительно вел полукругом. Через определенное расстояние нам необходимо было поворачивать направо. То есть, кружа, постепенно приближаться к центру. Несколько раз мы попадали в тупиковые коридоры, возвращались, оглядывались и, приседая, крались вдоль стены. Примерно через час внешний коридор, откуда мы начали путь, был уже далеко позади. Мы шли вверх. Иногда где-то раздавалось странное глубокое гудение. Оно длилось с полминуты, все это время стены слегка вибрировали.

Запах далекого, но несомненного сеновала временами накатывал теплой ностальгической волной, а вместе с ним ветер приносил мелкие разноцветные звуки, такие крошечные и плохо различимые, сравнимые разве только с бесконечно детализированным миром долины, в котором городок, и дороги, и черепичные крыши, и ставни, и жители движутся медленнее насекомых. Звуки были странными, полуфантомными. словно детские голоса с пляжа или поля, где что-то шумело, и, преодолевая шум, искрами громко вспыхивали короткие имена, слоги, сонные междометия на чужих языках. Один раз показалось, что звали меня.

Мы попали в длинный изгиб туннеля, из которого он просматривался далеко в обе стороны. Сверху тускло, бесформенно белел свет, словно проваливавшийся сквозь пролом под собственной тяжестью. Он лежал там цельной, не рассеянной ледяной глыбой. А

до нас, отделяясь одиночными квантами, спускался в виде световых снежинок.

Мы стояли несколько минут, зачарованно и сонно глядя на него. Потом вернули взгляды вниз и снова пошли, исчезая во тьме.

По дороге мой спутник, видимо, под впечатлением от увиденного, вдруг тихо и лирично заговорил о каком-то индонезийском острове. Где пляжи, и джунгли, и в скальные сумерки проникает спокойная ледяная лагуна. В джунглях стоит забытый буддийский храм — единственный в мире, выполненный в виде огромной статуи Будды. Внутри он полый. Там только лестницы и помещения. Одни — просторные и наполненные каплющей по стенам водой пещеры, другие — невероятно тесные, словно змеиные лазы, проходы, пробраться сквозь которые можно только выдохнув всю свою старую жизнь. Человек, решивший зайти в этот храм, должен пройти его от основания в ступне Будды до самой вершины в форме головы, постоянно поднимаясь по ступеням, выбитым монахами в скале. Внутри царит почти полная темнота, нарушаемая только паутинками света в трещинах. Самое удивительное заключается не в самом храме, множестве его помещений — то гулких, то взрывающихся бесчисленно отраженным эхом, то абсолютно беззвучных — таких, где живет только аура шелестов, гулов самого попавшего внутрь человека — слышно, как движутся легкие внутри тела, и дрожат вены, и напряженно бьется сердце, — самое удивительное, что ничего этого, по сути, не надо для того, чтобы достичь прозрения и просветления. Пока человек поднимается от ступней до головы Будды, он остается в абсолютном одиночестве, наедине только с самим собой, своими страхами, видениями и надеждами. Он проходит своеобразное перерождение — в пещерных залах, заполоненных сталактитами и в удушающих пренатальной теснотой ходах. И в физическом, и в духовном плане он идет снизу вверх. От темноты внешней к свету внутреннему, не зависящему ни от чего, зажженному только собственным сознанием.

— Наверное, в этом смысл слов «Будьте светом для самих себя», — произнес напарник задумчиво и отстраненно, словно через него говорил кто-то другой.

Загадка запахов и звуков стала ясна после второго круга, когда, осмелев, мы распрямились во весь рост и даже изредка переговаривались. На земляном полу под раструбом фонарика вспыхивали

пластинки прессованной соломы, похожей на паркет. Местами ветер, сопровождавший нас со спины, наметал ее сугробами до колен. Кузнечики и сверчки стрекотали из динамиков, которые совершенно не были запряваны в стенах. Бутафория была неприкрытой и безыскусной.

— Я когда служил, — заговорщицки шептал напарник, — у нас в штабе под землей была похожая штука. Только в динамиках крутили патриотические песни. Странно было. Идешь в таком подземной бункере, а тебе прямо в уши...

Далеко сзади раздался явный звук шагов. Они тяжело спешили. Бег!

Напарник быстро стащил с ног обувь, кивнув мне — «делай, как я» — и мы бесшумно рванули вперед. Остановились. Снова голоса. Возле лица раздалось тяжелое дыхание:

— Поворачиваем при первой возможности.

Голоса раздались еще раз, уже как бы под другим углом. Гораздо ближе, чем можно было ожидать. Снова рванули и разом остановились. Шли навстречу. Сжимали с обеих сторон. Напарник лихорадочно достал план, осветил на него, — голоса впереди двигались, казалось, уже совсем рядом, едва ли не за пределом видимости, — погасил фонарь и дернул меня назад. Отбежав несколько десятков шагов, напарник сотворил чудо: ударив меня плечом о стену, оцарапав щеку, он разворотил бетон и сунул меня в какой-то закуток. Тут же, в полной темноте, рядом послышалось его тяжелое дыхание. Я прикоснулся рукой к щеке: царапины были крошечными. От резкого удара и полной дезориентации кружилась голова. И вдруг ветер принес карамельно-синий запах сигареты. Напарник, вплотную прижавшись, толкнул локтем. Слепую поймав его руку, я нащупал его сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем. Его тело тихо тряслось. Он смеялся. Толкал меня в бок то локтем, то кулаком с древнеримским жестом, которым якобы даровали жизнь гладиатору. Все в порядке: если курят — значит, не ищут. Голоса, шедшие спереди и сзади, встретились где-то совсем рядом. Скрестились, как прожекторные лучи, перебросились парой фраз и оттолкнулись друг от друга льдинами. Уплыли. В это время опять раздался гул с вибрацией. Напарник включил фонарь, осветил себе в лицо, улыбнулся, развернул кулак в ладонь и предложил ее мне:

— Анатолий, если что.

— Взаимно, дядя Вова, — сказал я, переводя дух и до сих пор не понимая, где мы очутились.

— Это параллельный коридор. Идет островком. Потом свернем в основной, — словно прочитав мои мысли, сказал Анатолий. — Извини, что так резко. Нужно было...

— Это ничего. Я думал, ты стену пробил моим плечом.

Обувшись, мы снова шли, изредка переговариваясь, ожидая, что вот-вот должен возникнуть прогал в стене, и тогда мы вернемся в нужный коридор. Прогала все не было. Анатолий тревожно молчал, разглядывал карту, пару раз постучал по туннельной плите. Глухо. Было ясно: мы заблудились. Ход, который нас спас, оказался тупиковым. Галочки на плане, которые ставил напарник после каждого ответвления, не помогли.

— Поворачиваем назад, — сказал наконец Анатолий.

— Может быть, если это другой коридор, может, он тоже параллельный?

— Может быть. Но точно известно только то, что возможность вернуться есть только сзади.

— Давай еще раз посмотрим план. Может, мы еще не дошли до поворота? Ты же постоянно отмечал.

— Нет, мы и так слишком долго шли.

— Может, в плане неправильный масштаб!

— Может, и неправильный. Но другого у нас нет. — Анатолий начинал горячиться.

— Мы потеряем время, если вернемся.

— А если не вернемся — то потеряем...

— Стоять на месте! Буду стрелять! — раздался крик сзади и резко вспыхнул свет.

Я в ужасе замер. Анатолий, сжавшись, резво прыгнул в сторону.

— Стоять!

Быстро развернувшись, я увидел: фонарь ярко бил в глаза, на секунду вперед из сияния выскочило дуло автомата. Анатолий выстрелил на свет — и тут же в ответ раздалась оглушительная автоматная очередь. Она, отвратительно шлепая пулями, прошла прямо по нам. Толя схватил меня за руку и рванул в сторону. Снова раздался выстрел и крик: «Стояаяяять!» Потом шум какой-то возни и жалобный стон.

Мы бежали минут пятнадцать, выталкивая из груди белое, тошнотворное дыхание.

— Ты понял, что произошло? — спросил я, упав на бок, сгребая ладонями сено в припадке желудочной боли от ожесточенного, резкого бега. — Ты понял?

Толя молчал. Тяжело, намного ближе, чем раньше, снова загудела земля, и со стен посыпалась пыль. Впереди и сзади, дальше и ближе, казалось, со всех сторон за гулом стали проступать крики.

— Вставай, — Анатолий поднял меня, — вставай!

— Куда «вставай»? Нас окружили!

Рядом послышался топот сапог.

— Вот они!

Автоматная очередь — и каменная щепотка брызнула, впилась в оцарапанную щеку.

Анатолий схватил меня, увлек к стене.

Снова очередь, прямо над головами: пули глухо и безвозвратно ушли в стену.

— Черт! Вот оно что! — Анатолий вскочил, резко навалился всем телом на стену. Она кряжисто захрустела, обвалилась проломом.

Он прыгнул в дыру, я — за ним. Следующая стена поддалась легче. Третья и четвертая — за ней. Отставая, по бокам, — справа, слева, — также проламывая стены, в несколько рядов, дальше, ближе, преследовала нас охрана, словно охотничья свора прыгала через бурелом, продиралась сквозь лес. Беспорядочные выстрелы и крики. Сзади тоже преследовали в проломленные нами дыры.

Мы выскочили в широкий коридор. Рванули в сторону, где в фонарном луче мелькнул прогал, заскочили в нишу — и снова раздался гул, теперь уже везде: под ногами, по сторонам. Стены задрожали, задергались, пол заходил ходуном, так зашпатель, как при землетрясении, что стены резко двинулись, сместились. Одна из них наехала огромной глыбой на прогал — и тут все замолчало. Гул исчез. Исчезли крики, стрельба. Пыль осыпалась тяжелым осадком, оставляя в воздухе дымную чересполосицу.

Анатолий выдохнул. Прислонился к стене и устало сполз по ней спиной. Ладони его кровоточили сквозь разодранную кожу. Лицо усеивали ссадины.

Фонарь с треснувшим стеклом все еще горел — уже слабым, призрачным светом, который перебивали яркие солнечные лучи сквозь окна в потолке.

20. А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ

Сверху через стекла сочился ярко-лимонный свет, ложась на нас теплыми, приятными полотенцами. Коридор, в который мы попали, был сухим, гулким. Хотелось курить, чувствовать ветер и слышать пение птиц.

— Я боксом занимался пять лет. Набивал ладони со всех сторон: костяшки и с боков, — гудел голос Анатолия. — В дедовском доме... на чердаке к бревну привесил мешок с песком. Сначала был горох. Но я его размолотил в муку. Потом песок. И так несколько лет. Двери ломал с тычка. Ребром, — Толя показал ребро ладони, — ребром перебивал черенки.

— Хорош заливать.

— ... черенки перебивал — не каждый раз, конечно, но через раз точно. Но в основном бутылочные горлышки. А это, — он хлопнул по стене, — это так, картон.

— Что, и тут картон? И там картон был?

— Не, тут на самом деле бетон. — Он похлопал по гладкой стене. — А там-то? Дээспэ заштукатуренное. Так... смех один.

— Ты понял, когда этот по нам стрелять начал?

— Что понял?

— Ну, что это было?

— Кто ж его знает, что там было... Ну, он нас не видел толком. Может, стена была какая-то... Звук слышен, а изображения нет. Он пострелял-пострелял, а потом побежал на нас и вмазался в стену. Слышал, как он заскулил?

— То есть стена была затонирована с одной стороны? Мы же его видели, а он нас нет.

— Получается, так. Какой-то хитрый материал. Как стекло. Одно-сторонняя видимость. Только скорее пластик. Она же не разбилась.

— Да, повезло.

— Повезло.

— Думаешь, там все стены были из картона?

— Из дээспэ-то? Не, точно не все. Только несколько последних. Я простукивал. Тут тоже бетон вот...

Анатолий встал.

— Так, отдохнули. Пора идти. Скоро здесь будет охрана. И вообще удача, что нас еще не схватили... Курить хочется...

Мы пошли по сильно изогнутому коридору. Вероятно, за его внутренней стеной были Государственные Палаты, то есть центр Ларца, то есть — конец пути.

— Это было землетрясение?

— Нет... — Анатолий о чем-то озабоченно думал. Левая рука сжимала кобуру с зачехленным пистолетом. — Нет, тут, наверно, вот какая штука. Это разгадка, почему мы заблудились. Помнишь этот гул? С вибрацией? Несколько раз.

— Ну.

— Я думаю, что коридоры проворачиваются вокруг оси. Смотри, — он присел и пальцем в пыли начертил концентрические круги. — Это коридоры. Они периодически вращаются. Каким-то механизмом. Возможно, за час или больше — наверно, больше — полностью проворачиваются вокруг оси. Когда мы забежали в тот параллельный коридор, они провернулись. Конфигурация коридоров поменялась, нужный нам ход закрыло стеной, и мы не смогли вернуться на первоначальный путь. А когда мы выломали проходы в нескольких стенах, и проходы, заметь, также ломала охрана, общая конструкция ослабла. В это время произошел очередной поворот, и часть конструкции разрушилась. Возможно, некоторые коридоры завалило. Поэтому и охраны еще нет. Надо спешить.

— А как же Верховный?

— Что: Верховный?

— Он у себя в «яйце»?

— Возможно, смылся. У него отдельный лифт. Его комната соединяется с внешним миром только через этот лифт и через дверь, которая, по идее, должна быть в этом коридоре. И все. Если лифт работает — то он ушел. Если нет...

Повернули за крутой поворот — перед нами конец коридора. Глухая стена. Сбоку от нее — закрытая дверь с широкой дверной коробкой, где на зеленом фоне изображен бегущий в сторону прямоугольника белый человечек. Знак выхода.

Мы переглянулись.

— Если охрана уже там — нам... кххх... — Анатолий провел большим пальцем по горлу. В руке у него был пистолет. Сдавленно прошептал:

— Приготовь оружие. Я стреляю по замку. Бью в дверь. Вбегаем вместе. Потом — по обстоятельствам. Готов?

— Да.

— Пошли!

Выстрел. Удар. Вбегаем. Я спотыкаюсь и заваливаюсь в плотную пыльную занавеску. Анатолий бежит дальше. Останавливается. Тишина.

Выбравшись из занавески, я увидел следующую картину. Комната была большим овальным кабинетом. Свет, как и в коридоре, падал через окна в потолке. В широком алькове — огромная кровать с балдахином. Застеленная. Пустая. Рядом вдоль стены — шкаф, по длине примерно, как кровать. Напротив — стол. Совершенно пустой. Вплотную к нему придвинут стул с прямой спинкой. Дальше — железная витая лестница, ведущая на крышу.

— Ушел, — сказал Анатолий со злобой и вытер пот со лба.

— Ушел, — проговорил я с облегчением. Самая трудная неопределенность разрешилась. Никого не надо убивать или брать в плен. Мы, может, и сами еще отсюда удерем.

Анатолий стал осматривать кабинет. Он был обставлен, на удивление, очень аскетично. Практически совсем пустой. Если бы не королевских размеров кровать, ни о каком Верховном не могло быть и речи. Заглянули в гардеробные шкафы. Пусто. Осмотрели ящики стола. Тоже ничего. Одновременно посмотрели на кровать. И только сейчас заметили, что на всех предметах лежит тонкий слой пыли. Сдернули с кровати одеяло — вверх к сетчатому балдахину поднялось пылевое облачко.

Здесь уже давно никого не бывало. Никто здесь не жил.

— Верховного тут нет, — сказал я. — Понимаешь? Он здесь не живет.

— А это тогда что? Вот это все? — Анатолий развел руками и повернулся. Он еще держал пистолет.

— Бутафория. Как и весь лабиринт. И стены. Из опилок. Пирамида, понимаешь? Зиккурат. Никакого Верховного тут нет и никогда не было. — Меня осенило. Из увиденного напрашивалась мысль, еще более важная и общая. — Это только снаружи красивая пирамида. А внутри даже мумии нет! Даже куклы! И никогда не было. Вот только этот дежурный вход. И все! Даже лифта нет.

— Черт побери! Что же делать? — растерянно проговорил Толя.

Я достал маячок и нажал кнопку. Через час над нами должно зависнуть облако с «островом» внутри. Если охрана не успеет сюда добраться.

— Я думаю, коридоры действительно завалило. А кабинет лежит на всем лабиринте как отдельная коробочка. Она осела на все здание. И теперь сюда вход только снаружи. — Я показал на лестницу и окна.

— Что с Верховным-то?

— Не знаю. Я думаю, его не существует.

— Что? — уничижительно, раздраженно прошипел Анатолий. — Ты рехнулся? Мы шли сюда... весь этот путь... сколько подготовки было... Вся страна живет Верховным! А ты рассказываешь какую-то блажь?

— Верховного нет, — сказал я с облегчением и пошел к лестнице. — Короля играет свита, понимаешь? Политтехнологии. Психология масс. Общественно-социальная майя и все такое... Понимаешь, все наши мороки, заморочки — они же созданы нами самими. Те, которые наверху, просто играют на наших страстях. На нашем желании верить. Ну, вот хочется всем, чтобы был мудрый правитель, — вот тебе и сделали мудрого правителя, божество, к которому протянуты руки и мысленные призывы и обращения. Мы же сами его воплотили: нарисовали, разукрасили, построили мавзолей, положили в нем под балдахин и встали на колени. А потом еще начали молиться и погрузились в собственный сон, мираж, распространив его из голов в реальность — по всей стране... Понимаешь, дружок, какая штука, — говорил я уже тихо-тихо, почти для себя, поднимаясь по звенящей лестнице, — мы придумали сон, а он возьми и сделай нас собственным сном... — Повернул дверную ручку. Посыпалась, облупившись, краска, словно вклеенная в дверную коробку. Петли протяжно, противно заскрипели, дверь, трудно поддаваясь, все же открылась.

Наверху, над комнатой была уютная площадка. Она покрывалась едва заметной травкой на сыром песке, над ней поднималось молодое, тонко-рогатое деревце. Высота Ларца была метров двадцать. Внизу сразу выскочили вооруженные люди. Ощетинились автоматами, стали кричать. Скат крыши очень крутой. Просто так по ней не заберешься. Все равно странно, что они сидят и бездействуют.

Я улыбнулся и помахал рукой. Люди опустили оружие, успокоились. Расстояние и растрепанный вид не смогли спрятать мою внешность. Я закинул руки за голову, растормошил волосы, поднял плечи, голову и громко рассмеялся.

— Вы меня слышите? Вы меня понимаете? Вы слышите, что Верховного не существует? Вы это понимаете? Его не-су-ще-ству-ет!

Идите домой, вы свободны, идите, расскажите всем: Верховного не существует! Вы меня понимаете? Почему вы молчите?

Почему ты безмолвствуешь, народ?

21. СВЕТ ИЗДАЛЕКА

Солнце перекаатилось за свой зенит. В воздухе брызгами птичьих голосов носилось предвестье весны. Мы с Толей, полулежа, сидели на верху ротонды, песчаном пяточке, подложив руки под головы, курили и каждый думал о своем. Он выглядывал далекие, высоко пролетающие облака. Не выбросят ли из одного такого тонкой чертой канат.

Я смотрел в большое синее небо, безграничное, безначальное. От слов — «начало» и «начальник». И мысли плавилсь и текли без всяких закономерностей, все сразу одновременно. Вспомнилось, что написанное вечером перед отправкой в Ларец письмо, запечатанное в импровизированный конверт и адресованное красивой вязью: «Лапуга. Команданте Чежопенко. До востребования (открыть в случае утраты подлинника, Дяди Вовы)», до сих пор содержит холодок неопределенности, но уже не соотносится с действительностью, со случившимся:

«Юра! Если ты читаешь это письмо — значит, пора тебе отправиться в дальний путь — на Восток.

Дядя Вова, как мог, пытался выполнить свою миссию, а дядя Юра — свою.

Может быть, в какой-то момент они разошлись, их миссии?

Но пусть Юре сопутствует редкостный успех в его предпринятии. Даже несмотря на то, что оно станет подрывать мою незаметную работу в качестве двойника Верховного, когда я начну участвовать вместо него в посещениях театров и других концертно-увеселительных мероприятиях.

Кроме этого, мне — а вдруг есть такая вероятность? — достанется завидное место в главном, самом официальном театре страны. И тогда, по иронии судьбы, я смогу считаться воплощением той части творческой интеллигенции, которая, согласившись со своей пассивной ролью, подыгрывает власти, говорит с

ее голоса, отказавшись от своего (кажется, мы это уже прошли?). Виват, виват мне! Потому что мое двойничество — двойное: я продолжу играть свою прежнюю пантомимную роль сказочного смешного тирана, представляя Верховного в мире искусства. Пусть даже и таким образом.

Иногда, перед выходом на сцену или перед ролью двойника, гримируясь, я буду смотреть в зеркало и представлять, что было бы, если бы наша афера выгорела? Смог бы я пройти лабиринт до конца? Что я встретил бы в самом его центре? Выход? Но тогда это должен быть настоящий выход из Сансары. Не шуточный, не клоунский. Хомячок выпрыгнул из колеса, перестав давать ей вращение, хомячок стал сам по себе, сняв колпак, стерев грим и опершись только на свои две ноги.

Как это страшно и свободно.

P.S. После прочтения — сжечь и пепел развеять над страной».

И вот, глаза в небеса, представлялось, что смотрит на меня сейчас космический спутник своим фотографическим глазком, смотрит, щелкая, моргает и летит дальше.

И наши взгляды невидимо встречаются.

И разглядывают меня не только зрочки спутниковых линз, но, может, даже самые звезды. И любая галактика, закрученная вокруг центра, подобно «глазу тайфуна», тоже выглядывает меня из своего места во Вселенной. И что меня, вот так, со всех сторон не только видят, но и слышат, и чувствуют. Листья, и камни, и морские раковины, и рыбы подводные, и гады подземные — за тысячи километров чутко чувствуют, как я хожу по земле, тревожа ее, и ветры и вода слепо, темно ищут за мной, бродят везде, чтобы охватить дождевыми каплями и стечь по лицу, по спине. И что это все, все вокруг — это и есть самое настоящее божество, видящее, слышащее, чувствующее разными своими органами. Спутником, звездой, камнем, листком. Всем тем, что кажется нам разобщенным, разнесенным по-отдельности. А на самом деле разобщения никакого нет. Разобщения ищем мы, люди, пытаясь представить божество в конкретном образе и месте. Мысленно, мы, каждый из нас, словно голографическая миниатюра одного-единого целого, мирового, мы пытаемся приблизиться к этому целому, собирая его в несуществующую абстракцию.

И нет никакой сансары, нет ни центра, ни периферии. Все это вещи ненастоящие, придуманные. Как правила чужой игры. Кто ее запустил и когда — неважно. Почувствовав, что идет эта игра, дай пройти ей мимо, дальше: по государствам, обществам, умам, навязчивым мыслям. А сам вникай в другую и чувствуй: как играют облака, дожди и деревья, как ветер струит сквозь листву бесконечные потоки воздушного простора; как балансирует вода, безостановочно влекомая естественным образом; как сигналият о пространстве звезды-немиги, далекие невероятно, что даже представить невозможно. И тогда в душе начинает струиться, течь — беспредельно, бескрайне — недробимое, нетронутое суетой, неделимое ощущение свободы — уходящее в мир и плотно, густо перекатывающее за грань вечернего закатного водопада-горизонта и пропадающее там, там, в счастливом далеке...

